

ТАТЬЯНА
ЗАМИРОВСКАЯ

ЗЕМЛЯ
СЛУЧАЙНЫХ
ЧИСЕЛ



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Другая реальность

Татьяна Замировская
Земля случайных чисел

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Замировская Т. М.

Земля случайных чисел / Т. М. Замировская — «Издательство АСТ», 2019 — (Другая реальность)

ISBN 978-5-17-148262-6

«Земля случайных чисел» — сборник новелл Татьяны Замировской, писателя и журналиста, автора громко прозвучавшего романа «Смерти.net». Все герои книги — в заложниках автора. Реальность каждого из миров строго определена и очерчена, но это не значит, что нельзя выбраться, нарушить, преодолеть границы. Всё, что нужно, — посмотреть на себя-мир-вселенную иначе, под другим углом. Проблемы с памятью могут оказаться обычной загробной бюрократией, голоса в голове — сосланными в сознание душами тиранов и ученых XX века, а история про девочку-призрака — неврологическим детективом в духе Оливера Сакса. Оптика Замировской невероятна и щедра, именно она позволяет героям приобретать там, где, казалось бы, нет ничего. Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-148262-6

© Замировская Т. М., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Тот, кто грустит на Бликер-стрит	7
Жемчужный сироп в оловянной чашке	11
Земля случайных чисел	17
Сад для игры в волка	27
Тибетская книга полумертвых	35
Мистер светлая сторона	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49



Татьяна Замировская
Земля случайных чисел
Сборник новелл

© Замировская Т.М.
© Блюмис А., иллюстрации
© ООО «Издательство АСТ»З

* * *

Тот, кто грустит на Бликер-стрит

Любовь моя, я пишу тебе из сумасшедшей старухи, в которую я пришла поработать, как в старбакс. И там ровно такая же очередь: такая же долгая, как в старбакс, и такая же сумасшедшая, как старуха. Она часами сидит на скамейке на Абингдон-сквер в самом маленьком парке в городе и крошит голубей. Вокруг нее на подминающихся ножках скачет влажный хлеб, напитанный кровью и утробным воркованием. Это знание разрывает меня на липкие перья, будто я трепещущий голубь в ее пальцах, но без необязательного понимания данной пищевой инверсии или перверсии пребывания мое в старухе неполное, невозможное и ложное – лишь дрожь в правой ноге или похолодание хребта, а хребтом с моей задачей не справишься. Каждое утро я хожу в старуху, будто в писчий храм, и сегодня она у меня сделала успех, нараспев исчертив рекламную газетную рябь марокканской вязью, – еще не почерк, но уже не одержимость неясностью, ненавижу быть неясностью, неясностью, ненастьем. Тут бы и остановиться: слабость, глоссолалия, аллитерация как тень иллитерации самой старухи (поверь, она сама удивлена открывшимся способностям; умение же рвать голубя на переливающиеся фрагменты сверхталантом она почему-то не считает). Но это уже которая по счету попытка. До этого я пыталась писать тебе из собаки, будто из подводной лодки, но во всякой собаке я затопленный подводник, на ощупь пытающийся нацарапать успокоительное мироточение прощания, прощения, отмщения не на стене скорей, а на преграде или перегорожке. Собака – плохой сосуд, пишу я тебе из сумасшедшей старухи невозможностью артикуляции плавсредства и ненавижу ее за эти лопнувшие сосуды в старческой ее голове, за эту мою таблеточную подъязычность, безъязычие, vessel, lesser. Тут стоп.

Ненастье, случившееся со мною пару недель назад. Счастье прочь. Тут разорвано. Точность: ровно четырнадцать дней, кому я лгу своей небрежной парой, если тот день теперь как татуировка поверх всего – тринадцатое сентября, день, которого нет в календарях.

Меня ударило дверью вагона, когда я вбегала в поезд метро, разобранная на части / взвинченная / хрупко-остроконечная, как очиненный архитекторский грифель, – точка, слом. Случилось то, что раньше снилось мне как невероятное и страшное – я поехала дальше в вагоне, а тело мое осталось лежать на платформе, ударившись о нее головой. Я успела подумать: желтые шары. Не знаю, почему я подумала про желтые шары. Да, это плохой жанр. Между собой и собой мы со мной его, этот жанр, называли «Я умер, и всем теперь стыдно про это читать». По ту сторону этого жанра, выходит, желтые шары – последнее, с чем соприкоснулась моя голова до того, как отпустить меня посещать старбакс старухи с ее голубиным крошевом. А читатель у меня только один, и стыд ему неведом.

Дальше все было как было, я ничего не пропускаю, все помню. Вышла на ближайшей станции, побежала обратно. Скорая, все как положено: айфон прикладывают к большому пальцу правой руки, и я кричу им, не надо, прошу, не надо, там ложные контакты, но кто меня услышит? Лучше бы я сгорела. Тем более что человек, как правило, сгорает вместе с айфоном. Или таким, как мы со мной, некурящим параноикам необходимо носить с собой зажигалку, чтобы на случай, когда есть свободная минута до неминуемой смерти, потратить ее всю целиком на большой палец правой руки.

Потом тоже честно все: в больнице пришла в себя, но ничего не помнит, сидит в белом, как муляж прибрежной птицы. Ест, пьет, задает вопросы. Я сижу рядом. Как в нее вернуться, не понимаю. Рассказываю схематично. Важна точность. Тут будет четко, как камни выплевывать: вот уже выросла целая горка леденцовых мшистых гладышей.

Я навещаю ее регулярно, но сил никаких нет, и как ей стать, не представляю. Манеры вроде бы те, интонации узнаю, но как туда попасть, неясно: она отдельно. Гуляю много последнее время, тренируюсь, вот стала к бабке ходить, бабка отлично получается, как видишь,

покорна мне, как внутриутробный стилус, которым я себя в некоторые моменты представляю, задумываясь о том, что и кто теперь я. Опять же, дети до двух лет получают отлично, особенно бессловесные. Болтливые билингвы – обычно запертый гараж, за которым что-то надрывно пыхтит и вот-вот выломает стальную дверь, но тихие, молчаливые – это мой дом и прибежище; но какие же ватные, валкие у них лапки, эти пухлые булочные валики, липкие пышечки. Зато попадаешь туда моментально – это как учиться кататься на лонгборде. Запрыгнуть, пока он движется, и сразу же продолжить отталкиваться. Падаешь. Падаешь. Падаешь. Тридцать раз падаешь, прыгиваешь, срыгиваешь собой в эту одуванчиковую пыль, потом едешь. С бабкой тяжелее, потому что она не движущийся, а как бы стоящий на песчаной равнине лонгборд, но все равно необходимо разбежаться, запрыгивать и толкать. И дальше тоже едет, только колес у нее как будто нет, поэтому тяжело.

Любовь моя, хочу написать тебе через бабку, чтобы ты приехал и забрал меня из больницы, я обязуюсь тебя узнать, хотя кого она может узнать, она же никого не помнит и все время пытается позвонить тому, другому, но я будто хватаю ее за руку, и этот приступ ложной памяти выпускает ее из объятий. Я не хочу, чтобы ее забирал тот, другой. Имени его я не помню, но ты вряд ли бы его забыл, ты вряд ли это забыл бы, поэтому приезжай и забирай обратно, я самый крошечный парк в этом городе, меня меньше квадратного километра пространства, и оно все твое за вычетом раскрошенных размокших голубей, которые схлынут, как коллоидный кровавый отлив, как только ты ступишь на эту священную территорию. Если ты боишься, что не отдадут, не выпишут, не поверят, уверяю тебя, все возможно: если подумать, я пишу это тебе фактически не только из бабки уже, но в некотором смысле и из главврача, и из парочки медсестер, самых немногословных. Протиснуться в кого-нибудь из них, как в заклинившую анисовой ржавью дверцу домашнего бара, на пару спасительных минут мне не составит труда, хотя более кровавого, отвратно составленного труда видеть и испытывать мне еще не доводилось. Хлеб, которому нас скоро наспех нарвут этими черными уличными руками, еще не испекли, поэтому ничего не бойся.



Ну и вот, короче, смотри. Я подхожу к этой бабке. Маленький сквер в самом начале Бликер-стрит, не знал даже, что он там есть, три дерева, вот и весь парк. Действительно, облеплена голубями, как известковая статуя. Сразу говорит: я ясновидящая, медиум, я всем такие письма рассылаю, знаешь, сколько у меня таких, как вы, сотку гони. Я ей даю сотку, вдруг еще что скажет. Говорит, она в больнице сидит ждет. Адрес дает, я поехал.

Да, забрал, как-то удалось договориться, все почему-то мне поверили, но сама будто не узнала. Но пошла со мной, сразу пошла. На себя не похожа. Разговаривает так, как будто не до конца ожила. Всё там не до конца, не знаю. Онемело все, говорит, как будто рука отнялась, только не рука, а другое. Тело чувствую, говорит, душу нет, надо помассировать, может, вернется кровь, ушла вся кровь. Плачет, пытается вспомнить, повторяет, что где-то меня видела. Спим в обнимку, но во сне не плачет, улыбается.

К бабке ходил, но она, сука, все время сотку требует. Голуби эти еще пристают, клюются, лезут на голову, свисают с шеи, как больные родственники.

Да нет, часто домой просится, плачет, пару раз с моего телефона звонила этому и говорила, что сбежала из больницы, но не понимает куда, просит приехать и забрать. Да нет, какая полиция, зачем, он, наверное, даже рад, что так вышло. Не понимаю, никогда не любила меня

раньше, да и теперь не любит, я ее перед сном обнимаю, а она отталкивает и плачет. Спрашиваю, помнит ли что-нибудь, но говорит, что этого помнит, а меня нет, и от этого ей еще хуже. Ест все, что я приготовлю. Хотя я раньше никогда не готовил, но подумал, что раз она не помнит меня, то и не помнит, что я не умею готовить. Этот перезвонил потом, узнал меня, говорит: все ясно. Надо будет к нему потом за вещами заехать или бабку послать, за сотку, да.

Нет, не врет. Но так не бывает. Бабка потом еще письмо мне отдала, говорит, давай еще сотку, тут тебе записка на упаковочной бумаге из помойки шведского магазина за углом. Письмо душераздирающее, но да, это точно от нее. И тошно от нее, ну. Мучается, конечно. Мозг, пишет, бабкин, старый, никудышный, всё там по накатанной, все эти колеи, борозды, повороты – тяжело внятно выразаться поэтому.



Любовь моя, спасибо тебе за все, что я до сих пор не могу ни принять, ни осознать; и снова я пишу тебе из этой бездонной, как водоворот, перенаселенной бабки. А ведь после всего, что так и не случилось здесь между нашими влажными душами, так мечталось написать резвое и скачущее по гулким чугунным улицам, как мяч, из собаки, из ручья, из воробья, ведь воробей здесь иной как категория, как пятеро, семеро воробьев, вся микропопуляция воробьев самого крошечного парка в городе. Воробья не нарвать, не накрошить, как ни пытайся, он ведь сам как кровь течет сквозь пальцы. Этими пальцами и пишу тебе внеочередное, и прости, что такое разорительное, мой старбакс преступен и отвратителен, и было бы проще написать тебе из пистолета, но слухи о вседоступности спонтанных пулевых ранений здесь сильно преувеличены. Я мечтала написать из напуганных иностранных студенток Новой Школы, испытывающих что-то вроде лингвистического шока, языкового заикания, вирусного грассирования, – но дальше пары строк дело не дошло. Студентка моя безмозгла, как весло, которым хочется огреть ее по бархатному загривку, кормовой голубь мой безрук и пуглив, а податливая подложка веселой белой собаки ловка лишь в поимке чугунного мяча из давно забытого мной зачина этого письма; крыса моя на удивление удачно оснащена ловкими, будто сувенирными пергаментными ладошками, но вложить в них резвое лезвие грифеля мне все же не под силу. Что до енота моего, то енот нынешних широт не мой: разумом он нынче значительно превосходит пороговое двухлетнее дитя, а внутренний тезаурус его так шокирующе развит, что проникновение в енота невозможно, как в большинство иных невидимых городских школьников. Как жаль, что мы с тобой, любовь моя, наконец-то встретились навсегда именно там, где меня во мне почти не осталось, но лишь выжатая, выкорчеванная из собственного сознания, я осознаю, насколько счастлива быть здесь с тобой, пусть и не здесь, пусть и не быть. Печально, но совсем не страшно. Вчера ночью, чтобы сэкономить тебе сотню, я пыталась написать тебе из тебя, но ты – как всегда! – тут же нежно выдавил меня из себя, как капсулу. Твое упрямство меня восхищает, пускай я вижу это лишь из собаки, из крысы, из дерева, из кричащего страшным воем китайского младенца. Ты так и будешь выдавливать меня из себя по капсуле, как отвагу, как осторожность, и мне в тебя не войти, но вдруг когда-нибудь выйдет наоборот и я буду сидеть рядом? К тому другому, имени чьего я не помню – видимо, оно не передается с фатальным ударом двери и чугуна по голове, – прошу, не отпускай ее; будет биться, но ты держи, ведь я всей своей широковокзальной, многонациональной бабкой люблю тебя, всем голубем, всей собакой, и даже та коричневая крыса, что шла к тебе вчера по проводам, искрясь в электрических переливах закатного света, тоже была я. Оставайся, мы будем любить

тебя всем городом, все равно у меня пока что больше не получается никуда проникнуть. Хотя все это временно, поверь – и ее, наш беспаятный полупрозрачный пакетик, мы непременно вскроем, как квартиру, вскроем и обчистим. Она будет наша, мы ее завоюем, в конце концов – как ты мне сам однажды сказал, это всего лишь туловище. Мы с тобой ключ, и мы же оковы. Не давай больше денег этой старухе, я хочу перейти на парки побольше, этот треугольник из куста и чугуна мне жмет, и я уже подыскала себе неплохого голубинового деда, похожего на благополучно состарившегося, неумершего Фрэнка Заппу. Он сидит на Вашингтон-сквер, и его легко узнать по резкому отсутствию толпы вокруг. Помни, ты здесь не для того, чтобы меня спасти, меня все равно не спасти. Считай, что мы с тобой проводим мысленный эксперимент, но формулировать его мне нечем.



Ну что, снял пока квартиру, вывожу ее в парки гулять. Улыбается, крошит булку. К ней, знаешь, белочки всякие сползаются, собаки подходят, птицы слетаются всякие. Как Белоснежка, блять. Я тому, другому, позвонил потом сам, но он говорит, что не нужно, не хочет видеть, но может подвезти документы, потому что страховку можно получить или что-то такое, в суд подать, это важно, говорит, огромные деньги в перспективе, ну или он даже сам подаст, так удобнее. Иногда что-то вспоминает, да, но нечасто. Однажды сказала: шолтые шары, шолты-е, и я вспомнил, что это из письма, поцеловал ее, но она сразу строго так: кто ты? – забыла сразу. Когда вспоминает, лучше не прикасаться. Еще как-то стащила у меня зажигалку и подпалила себе подушечки пальцев, до пузырей, а я не успел переписать контакты с ее телефона, теперь всё. Код не помнит, конечно, ты что. Да, получше. Говорит, пусто внутри, но хорошо, что я рядом. Если назовешь свое имя, назовет тебя по имени. Я хочу собаку купить или что-нибудь такое вроде собаки, пусть у нее будет, она к животным тянется, и они к ней идут отовсюду, как на почту, в очередь становятся и ждут. Иногда у меня в голове что-то щелкает, и тогда она тянется ко мне, будто я сам животное на бесконечном поводке, – но это на секунд десять, не больше. На Абингдон-сквер я больше не ходил, я так понял, что не нужно. Письма я выброшу в реку, когда буду уезжать из этого города, но пока что у меня хватает денег, и я немного здесь поживу, пока она не наладится, не раскроется, пока не сработает этот засов; я всегда мечтал уехать хотя бы временно, просто сбежать куда-нибудь и потратить там все свои сбережения, чтобы не искушаться, не задумываться, не жить ожиданием жизни, от успешного стартапа с инвесторами господь сбереги, от бизнес-плана сбереги, от креативной индустрии подальше к пропасти безвластия над собой отведи. К бабке не ходи, к бабке не ходи, к бабке не ходи.

Жемчужный сироп в оловянной чашке

Бабушке удивительно повезло, и всей ее семье, по-видимому, тоже. На бабушкино имя пришло роскошно оформленное приглашение, где указывалось, в частности, что она еще весной подавала заявку в церкви (все очень удивились: бабушка весной точно не могла ходить в церковь, потому что она уже восемь месяцев как не ходила вовсе, – шейка бедра, предательский хруст, последний шаг). Выяснилось, что эту заявку, поданную потусторонним, бесчестным образом, внимательно рассмотрели, и полагают, что у обеих – бабушки и заявки – есть все шансы пройти досудебные предварительные испытания, поэтому всех приглашают с двенадцатого по двадцатое марта включительно, в полном составе, такие правила, надо ехать.

Никто толком ничего не знал про испытания: так, доходили слухи, где-то вроде у друзей соседских родственников какая-то бабушка тоже получила приглашение, но никто ничего не уточнял – ни как правильно составить заявку, ни что там происходит. Все соседки, во всяком случае, божились, что сами заявок не оставляли и понятия не имеют, как это делается, но вот за горами, за лесами, в веселом чертовом Барнауле якобы чей-то дед Дима составил правильную заявку, и за ним примчали ангелы в синих плащах (параллельно порой прилагалась история про неправильную заявку деда Вовы – за ним говорящие свиньи приехали на безглазых конях верхом и увезли деда с собой навсегда, оставив залог – кованое кресло-качалку, которое качается и качается, остановить невозможно) и всю родню забрали, а потом все вернулись уже без деда, но с чемоданом подарков и сертификатом: дед прошел. Оно еще и удобно: хоронить не нужно, отпевать не нужно, ничего не нужно уже – прошел, прошел.

Потом оказалось, что маленький Арсений построил по бабушкиным сбивчивым советам церковь из спичек – именно в ней хитрая бабушка умудрилась оставить заявку, как сообщили им уже потом, когда приехали всех забирать. Собирались, будто цветы в букет, – хрустящие, ломкие, пылающие праздничным бархатом, впереди как бы дача, санаторий, консерватория; Лана стоит в коридоре сияющая, как новая стиральная машина, у ее детей Арсения и Машеньки по мешку с любимыми игрушками (невозможно расстаться), бабушку ведет под руки папа Арсения и Машеньки, тихий толстый Чапа, Чапе со всеми нельзя, потому что он не кровный родственник бабушки, и конфетный букет из напомаженной Ланы и деток висит на Чапе с торжественным шипением: чашки помой, за водой следы, влажную уборку убери, еще одну не менее важную уборку убери и не пей, ничего не пей, только воду, но из крана не смей.

Кран в ответ на запрет тоненько запел из кухни: прощался с бабушкой. Она обернулась легко-легко, как будто серебряная шаль упала с плеч, и махнула сухонькой ручкой, покрытой коричневой сеточкой: разрешила тишину. Кран перестал петь, и все вокруг перестало петь.

Все залезли в серебристую машину: бабушка и Лана с детьми. В машине уже сидел дядя Володя со своими мальчиками от трех браков: подростком Василием, восьмилетним Домиником и маленьким трехлетним Адрианчиком, которого бабушка вообще никогда не видела, потому что Адрианчик с дядей Володей и его третьей женой, кореянку, жили в Калифорнии. Бабушка просияла, усадила Адрианчика себе на колени, он сморщился и завозился, запыхтел, судорожно забился локтями, как голубь, залетевший в мясную лавку. Лана вопросительно уставилась на брата Володю: выходит, заехали за всеми – вначале за Володей, а потом вместе с ним в Минск к первой жене и в Балтимор ко второй, с которой Володя и эмигрировал. Последний раз Лана видела Володю десять лет назад. С тех пор он похорошел, погрустнел и стал похож на какую-то неназываемую мебель. Адрианчик завыл, извернулся ящером, бабушка засмеялась: ты, Вова, такой же упрямый был.

Привезли, заселили в гостиницу, все объяснили наконец-то: такая программа, перенаселенность туда-сюда, буквально через пару сотен лет планируется Большой Суд, но всех сразу не потянут, это же миллиарды, незарегистрированных еще сколько, короче, муторный процесс,

поэтому было решено ввести программу, чтобы некоторые желающие еще до Большого Суда прошли все судебные испытания и получили сертификат заранее. Зато тогда потом уже, когда Большой Суд, их это не коснется, будут сидеть с сертификатами как зайчики.

Еще сообщили, что испытания все еще «прокатываются» и в дальнейшем будут модифицироваться, поэтому можно оставлять жалобы и предложения в специальной книге, и всё потом обязательно учтут, вам же самим пригодится.

Пригодится, пригодится; тут все пригодится, все сгодится. Гостиница оказалась царская, пятизвездочная: бассейн, азиатский ларек с дрожащим, как танцовщица, муссом из личи и манговым смузи в пластиковых ведерках, гигантское неоновое лобби с кальянным баром, музыкой и аниматорами для малышей, бармены услужливо говорят на всех языках, даже на польском. Лана во время ланча набирает полные карманы винограда, Арсений и Машенька тянут в номер вазу-кубок, усыпанную доверху золотыми, как монеты, карамельками.

Потом бабушка заходит к ним – помолодевшая, в синем платье – и таинственно говорит, что заполнила все бумаги наконец-то и скоро убегает на первое испытание.

Потом снова прибегает с букетом цветов (подарили на рецепции) и какими-то папками, оставляет их на подоконнике, волнуется, говорит, что придется много всего вспоминать, фактически всю жизнь заставляют вспомнить и потом по каждому событию пройти схематически, и так каждый день.

Прибегает и убегает, видно, что немного нервничает, но и радуется тоже: глаза блестят, запястья спортивно пульсируют, улыбка не сходит с растерянного лица.

Все это время за ней по гостиничному коридору властно и важно ходит какое-то некрупное черное животное с налитыми кровью глазками и красной тряпочкой в зубах. Животное дожидается бабушку около двери в номер, внутрь не заходит. Выясняется, что действия каждого участника курируются свыше, поэтому должен присутствовать спутник и наблюдатель – у большинства это традиционный огнегривый лев или иное благородное схематичное животное вроде единорога; за одной старушкой, например, ходил бенгальский тигр ростом в два раза больше этой самой старушки, но у бабушки получилось совсем странное, пусть и величественное, животное. Машенька, всмотревшись в него издали, предположила, что это плешивый сурок. На деле же это было черное, неповоротливое кошачье животное, похожее на барса, но с неудобными плавательными перепонками на лапах и плотным кожистым, как у выдры, хвостом.

Позже, благодаря эрудированному Володе, все выяснили, что бабушкин плешивый полутигр – это бабр. Бабр изображен на гербе Иркутска и фактически является выдуманным животным – неким трагическим гибридом уссурийского тигра и бобра: поспешные и тревожные геральдические художники, по словам Володи, не разобравшись в том, что бабр – это тигр, а не бобр, пририсовали зверю плавательные перепонки и бобровый хвост. Оказалось, что в зубах у бобра – убитый им малютка соболь, который также присутствует на гербе Иркутска. Мертвый соболь доказывает, что существо с перепонками и кожаными хвостом не бобр, а опасный и благородный тигр.

В детстве бабушка какое-то время жила в Иркутске. В общем-то, все сошлось. Пока Володя объяснял это сестре и племянникам в лобби, бабушкино животное внимательно, как сторожевой пес, присело и деликатно положило мертвого соболя прямо на ковер. Потом снова вцепилось зубами в трупик и, весело поднимая лапы, будто на марше, поспешило за бабушкой, пробегающей по коридору с очередной пачкой заполненных анкет.

Каждый день бабушка проходила испытания: исчезала куда-то, возвращалась взволнованная, сияющая. Как-то пришла 16-летняя, пылающая, как камин. Однажды вернулась совсем ребенком, двух слов не могла связать. Но приходилось связывать как-то – по правилам во время каждого испытания необходимо было спрашивать совета у одного-единственного кровного родственника. Бабушке объяснили, что она будет переживать различные важные ситуа-

ции из собственного прошлого, но сконструированы они будут так, что поступить правильным образом будет принципиально невозможно – и, чтобы принять правильное решение, необходимо попросить совета у родственника. А потом принять еще одно решение: следовать совету или нет. Правильное решение только одно, ошибаться нельзя, но все это не очень страшно – даже если сертификат не дадут, все равно впереди маячит какая-то жизнь, все можно поправить потом, когда будет Большой Суд, к тому же это тестовый режим и, возможно, пару ошибок допустить не так страшно.

Лана уточнила у бабушки: мама, ты оказываешься в ситуациях, которые у тебя когда-то были? – но бабушка хитро прищурилась и тонким голосом ответила: не совсем – в тех, которых не было, но могли бы быть, и поэтому они выглядят и воспринимаются как подлинные. То есть другие ситуации, которые ведут к таким же деталям биографии, понимаешь? Лана качала головой, вынимала из карманов халата утренний виноград и давила его языком: ничего не объяснить тут.

Вообще бабушка пришла к Лане за советом, и зверь бабр сидел молча под дверью, жуя плоть мертвого своего спутника так интенсивно, что казалось, будто его бесконечно тошнит одним-единственным сободем. Бабушке выдали такую ситуацию: ей было хорошо за тридцать, и она мучительно не могла разрешиться Ланой в роддоме, и врачи ангельским хором возвестили – выбирай, тут надо кого-то одного выбрать, или ты, или она, а выбрать невозможно, и ужасно болит, и синие круги под глазами крутятся-вертятся, как небесная мельница, а под чьими глазами – не очень понятно уже, просто нехорошие глаза вырезаны в потолке, выломаны усилием боли провалы-дыры, смотрят и ждут. Ты же сама рожала, объясняет бабушка Лане, ты должна знать, как поступать в такой ситуации, у меня сейчас это впервые. Лана подумала и ответила: а я бы осталась жить, наверное. Что дети, эти же дети потом всегда еще раз придут, а человека, если уйдет, назад не вернуть.

Тогда бабушка вышла в коридор и подумала: совет правильный. Потому что какая-то она странная, эта Лана, лучше бы ее не было. Делайте всё так, чтобы со мной все хорошо было, попросила она врачей; если все пойдет не так, еще нарожаю. Потом оказалось, что это было правильное решение: ребенок родился кое-как, синий, как вечернее платье, но зашевелился, ожил, запищал неприятным котенком. Вечером, когда бабушка заполняет какие-то бумаги, ей объясняют: все сошлось, разумный эгоизм – это нормально, если бы вы пошли на операцию, мы бы и вас потеряли, и ее, а так у вас дочка, поздравляем.

Потом бабушка вспомнила, что в реальности никаких проблем с Ланой не было вообще: родилась быстро и весело, здоровая, крепкая, как гранат, с густыми черными кудрями и цепкими сжатыми кулачками.

Но вскоре она поняла, как это работает: вот школа, подружка детства Леночка разбила вазу в учительской, и надо выдать, потому что всех оставят без экскурсии на хрустальную фабрику, – но как выдашь подружку? Американский школьник Доминик хлопает девятилетнюю бабушку по плечу и говорит: глупая, это не предательство вообще, ты просто говоришь правду. И бабушка понимает: совет Доминика правильный, – и, дрожа от стыда, произносит куда-то в пол пять кровавых слов, и на экскурсии вдруг осознает, какое тошнотворное множество этих обычных, бессмысленных ваз делают на фабрике – сотни, тысячи, – и берет одну из них с конвейера, чтобы медленно разжать руки и увидеть, как она рассыпается хрустальным букетом в воздухе: ваза ничего не стоит, но настоящая дружба стоит того, чтобы перечеркнуть ее навсегда пятью словами правды, – и тем более она стоит этой отчаянной попытки вернуть ее этим бессмысленным актом самопожертвования. Потом оказывается, что решение было правильным: если бы Леночка осталась бабушкиной подругой, она бы разбила, будто вазу, ее семью, и Лана с Володей бы никогда не родились, да и Доминика бы не было.

Однако в реальной бабушкиной жизни все случилось не так: вазу расколотили они с Леночкой вдвоем, наказали за это двоичника Усманцева, а их дружба продержалась еще

года три, пока Леночка не пошла по рукам, не разбежалась по мальчишкам, подвалам, лагерям и зовущим пьяной песней летним закатам. Рассосалась, как опухоль, несущественная доброкачественная Леночка – кто бы мог подумать, что бабушке придется вспоминать ее дрожащие птичьи плечики уже на собственном, персональном закате?

Вот бабушке всего восемь, и мама врывается в ее комнату: ты не спишь? Я тебя сейчас убью.

Бабушка молчит, а мама спрашивает: снова читаешь в кровати? А у бабушки под кроватью сидит больной котенок со слезящимися, гнойными глазами, и котенка необходимо оставить, но как его покажешь маме, если у него вместо лица – желтая уродливая корка? И она отвечает матери своей: да, читаю, и мать говорит ей: дай же мне книгу свою, я ее выброшу, потому что я предупреждала, еще раз – и я выброшу. И протягивает руку. И тогда бабушка впервые в жизни молится: господи, думает она, господи мой боже, пошли мне срочно книгу, пошли мне какую-нибудь книгу, чтобы солгать, потому что без книги никакой лжи не получится и все рухнет. Любую книгу вообще пошли, господи, даже не важно какую, просто какую попало, можно даже плохую или ненужную тебе книгу, все равно ее выбросят, и я обещаю никогда не думать о том, что это была за книга, господи.

Бог не посылает ей книгу, под одеялом предательски пусто. Котенок начинает пищать, мама выживает его из-под кровати и заставляет отнести назад на помойку, где подобрала. Восьмилетняя бабушка с ворочающимся за пазухой мокрым, скользким больным котенком долго-долго стоит у ночных мусорных баков, вдыхает свежий весенний воздух и смотрит в янтарный квадрат собственной кухни, где маячит злобный мамин силуэт. Потом она просит совета у внучки Маши: уйти вместе с котенком из дома? Маша долго думает, потом отвечает: маму нужно слушаться, но и котенку нужно помочь – поэтому надо вернуться с котенком и сказать, что послушалась и отнесла, но теперь снова принесла, со взрослыми такое иногда работает. Бабушка так и делает, после чего получает от мамы мокрым колючим полотенцем по щекам и шее, а котенок улетает в мусоропровод. Вечером ей сообщают, что и это решение было правильным: именно после инцидента с котенком у мамы началась депрессия и она решила уехать из Иркутска, потому что нет там жизни, нет. А так бы росла в Иркутске, и никого бы не было: ни Маши, ни Арсения, вообще другая была бы семья. Потом бабушка вспомнила, что кот Киса с первого взгляда бесповоротно очаровал маму, и переехали они только потому, что у мамы случилась не депрессия, а любовь с тем усатым моряком из Ильичевска, и Кису они везли с собой в деревянном ящике из-под персиков.

Дальше ситуации становились более сложными: вот бабушке уже 28 и у подруги Наденьки беда – изменяет муж. Да только знает об этом сама бабушка, а Наденька не знает, просто подзревает что-то: мучается, советуется, роняет жемчужные безымянные слезы в горький суп. Бабушка узнала об этом от другой подруги, на работе: мир тесен! Та тоже была сама не своя – измеряла тесемкой талию, швыряла обеденный пирожок на белый кафель, шептала: не разведется никогда, пора рвать – и рвала на аккуратные мелкие кусочки пористый белый хлеб, словно невидимым птицам. Сказать ли Наденьке правду? Тогда та, хлебная вдова, наверняка получит свое счастье – но хорошо ли это?

Бабушка решает выяснить все у Арсения, но он настроен воинственно: всех поубивать, никого не прощать, а мужа забрать себе! Но потом, видимо, вспомнил какой-то фильм и дал хороший совет: поговорить с мужем Наденьки самостоятельно, спросить, что он там себе думает. Бабушка назначает встречу мужу Наденьки, но тут обнаруживается, что муж уже давно влюблен в нее, в бабушку, и даже ту корову с работы он очаровал только для того, чтобы быть еще ближе к ней, к бабушке, из третьих каких-то рук, из пятых, десятых про нее все разузнать. И что делать, брать его или не брать? Брать, понимает бабушка, берет и плачет: не любит совсем, но такой совет. Лежит рядом с этим чужим мужем в постели, как с хлебным батоном: непонятно. Обнимать, не обнимать. Все чужое. Но вечером зверь бабр кладет мертвого соболя

на ковер и говорит бабушке, что она приняла правильное решение – этот чужой муж потом на ней женится и станет отцом ее двоих детей. Нашла свое счастье, но честным образом – это нормально, так можно. Бабушка не очень понимает, как так вышло, – ведь в жизни она познакомилась с дедушкой на танцплощадке и не отбивала его ни у кого, и не был он этим ватным чужим хлебным валиком, а был шумным и праздничным, как уличная рождественская ярмарка. Но там другие правила, видимо, там надо найти человека совершенно по-другому и совершенно другим человеком, чтобы сошлось.

И все сходилась, вот удача. С каждого испытания бабушка прибегала окрыленная, как девочка: пролетала, как пейзаж за окном скорого поезда, еще одна жизнь, но в ней все сходилось с той, что уже прожита и выжата, как горький лимон, оставив на доньшке стакана эти мимолетные странные родственные связи: вот столик, вот внучка. Вот внуки, опьяневшие от яблочного компота и компьютерных игр, восседают на диване в коридоре и смотрят друг на друга с благородной ненавистью – раньше почти не виделись, а тут постоянно вместе.

Один из этих американских внуков помогает бабушке во время ситуации с огнем и первой любовью: пожар в соседнем доме, бабушке 12 лет, она стоит и жадно смотрит на пламя, и рядом убивается старушка с первого этажа – ой, болонка у меня там, болонка, воет она. Мальчик, в которого бабушка влюблена, вызывается помочь: я сбегая, я успею, что там, минута не дышать, намочу водой майку и голову ей обмотаю. Бабушка обхватывает его обеими руками и жарче пожара шепчет в его влажные уши: не пушу. Не пушу. И вдруг всем телом понимает, что у нее, оказывается, от рождения есть невысказанная, сладкая власть не пускать – и он никуда не пойдет, останется на месте памятником собственному благородству. Если отпустить, может погибнуть. Но может и не погибнуть, и тогда он будет герой, а она будет тайная невеста героя, и у нее во рту становится солоно от предвкушения чудесного. Бабушка просит совета у маленького внука Адрианчика, которому всего три и которому она рисует всю эту ситуацию картинками, потому что английского она не знает: 12-летняя черноволосая девочка с маленькими жемчужными зубами, белыми мраморными плечами и круглым, как булочка, мраморным лицом сажает вертлявого бессловесного Адрианчика себе на колени и показывает ему картинки – что делать? Куда должен пойти мальчик – сюда? Или сюда? Адрианчик тычет потным розовым пальчиком в свинцовый карандашный кошмар – удерживать нельзя, понимает бабушка.

Совет оказывается правильным, успокаивают ее вечером – да, убежал и угорел, но все правильно. Если бы не угорел, стал бы ее мужем и никакого малыша Адрианчика бы не было. Правда, в реальной жизни все случилось не так: разжала руки, героем вбежал по лестнице вверх, выбежал жив-здоров с уродливой мышиною цвета сукой под мышкой, через три дня целовались на заброшенной стройке, через три года потеряла с ним девственность в подвале на соленых матрасах, будто на войне, и хотели пожениться, но не дождалась из армии, забыла имя, другие пришли и забрали все, что он не забрал. А в армии его убили в пьяной драке – видимо, потому, что разжала руки тогда на пожаре. Если бы держала, то удержала бы. И стал бы ее мужем все равно, и никого бы не было, и какие-то другие люди давали бы ей сейчас какие-то другие советы.

И так девять дней подряд: вот сын Володя советует ей не защищать диссертацию (и это правильный совет, благодаря которому сам Володя появляется на свет); вот сын Володи, угрюмый подросток Василий, в основном проводящий время в баре и накидывающийся виски вместе с чьими-то чужими смешливыми внуками, которым тоже не очень нравятся эти бессмысленные каникулы, советует 16-летней бабушке все-таки сделать аборт и не рожать того, кто не станет лучшим в мире старшим братом Володе и Лане, – и это тоже правильный совет, потому что нерожденный этот ребенок оказался бы умственно неполноценным и при случае свернул бы маленькой Лане шею (в реальности, заметим, никакой незапланированной беременности не было); вот маленькая Маша подсказывает, как поступить с найденным на улице кошельком

с пенсионным удостоверением внутри. Бабушкин зверь довольно поигрывает зажеванным до неузнаваемости сободем: все правильно, экзамен сдан, вот-вот дадут сертификат.

В последний день бабушке, необычайно посвежевшей от этого потока параллельных жизней и воспоминаний, приносят жемчужный сироп в оловянной чашке – это последний выбор, последняя задача, ответ на которую в любом случае будет правильным. Все испытания бабушка прошла, теперь нужно принять самое важное решение.

Пришла советоваться ко всем домашним сразу; собрались в большой комнате Ланы, конечно, неразбериха полная, Володя и Лана в один голос говорят, что не надо, но звучат неискренне, внуки советуют пить вообще все, что дают, потому что ничего не понимают, подросток Василий говорит, что хочет все выпить сам и не возвращаться на хрен никогда из этого пионер-лагеря, американский школьник Доминик деловито предлагает устроить голосование.

Бабушка объясняет, что она успешно прошла все испытания и может получить драгоценный сертификат – но возвращаться тогда уже не будет, нельзя, пойдет там дальше, куда по документам нужно пойти, а они вернутся без нее, с подарками и еще какими-то бонусами, может даже денежными, она точно не уверена, но будут чемоданы, обещали чемоданы из лаковой змеиной кожи. Может вернуться вместе с ними, но тогда испытания могут обнулиться каким-нибудь ее неправильным поступком, и придется потом проходить их все заново. Да и вообще, живой человек в любое мгновение может наделать множество глупостей, даже если ему совсем немного осталось. Накричишь на расплескавшую сливовый сок дуру – вот и сгорел твой сертификат, и ты сам будешь вслед за ним потом гореть в геенне огненной.

Все немного посоветовались и решили, что лучше все-таки выпить, потому что потом бабушка сможет за них всех заступиться, когда будет Большой Суд, ну и плюс еще этот сложный момент квартиры, они же все кучно толклись в двухкомнатной крошке – бабушка, Лана, муж Ланы и дети, которые же растут, платья-пианино-учеба, друзья-подруги-будущее. Двухкомнатная избушка ломится и разрывается от этого пухнувшего, как тесто, неясного будущего, полного дерзаний, побед, новых экзаменов, десятилетий передачи своего генетического кода в неясное вперед. Надо пить, иначе будущее, разбухнув и залепив собой входы-выходы, так и обмякнет прощальным выдохом. Все сдала, такая удача, надо идти дальше.

И это был правильный совет.

Но бабушка ему не последовала – лучезарно осмотрела всех присутствующих, поставила оловянную чашечку на пол, махнула рукой – легко-легко, как будто снова дает разрешение всему вокруг перестать петь, – и вышла из комнаты.

В ту же секунду она оказалась у себя дома, под белым-белым одеялом. В комнату вошла мама и сказала:

– Кристина, ты не спишь? Я тебя сейчас убью.

Кристина в ужасе засунула руку под подушку и внезапно, обмерев от ужаса и восторга, нашарила там холодную, мокрую обложку какой-то неизвестной ей книги.

Одним рывком она выбросила книгу перед собой, как заряженный пистолет.

– Был уговор, – сказала мама. – Ты снова читала в кровати – я ее выбрасываю.

И ушла, держа книгу, с которой почему-то стекала вода, на вытянутых пальцах, будто змею. Что это была за книга, Кристина так и не поняла.

Зато она поняла, что это было правильное решение: ей снова восемь, и теперь она точно знает, что нужно сделать, чтобы всех этих людей, чьи туманные, расплывчатые лица уже начали сливаться в памяти в какую-то дождливую серую массу, в ее бесконечно огромной будущей жизни не появилось больше никогда.

Земля случайных чисел

Проснулись в девять утра от жуткого грохота.

Наше поле, наше.

Мы сразу туда побежали, конечно же, как только оно случилось, потому что *это было наше поле*. Все, что там происходило, – только наше. Это там мы с Ниэль встретили коричневую земляную ведьму в грибной шапочке аптекаря. Там я вызывала Белую Собаку на пятом лунном рассвете, умирая от ужаса, и собака пришла и принесла нам корзинку с десятидневными щенками просто так поиграть – с каждым днем они, слепые и нежно-плешивые, как одуванчики после бури, становились тоньше, розовее и прозрачнее, пока на десятый не превратились в набор шевелящихся тихих кожаных пузырей, и тогда Белая Собака вернулась и забрала их обратно в себя. Это там Ниэль копала могилу лесному черту и сделала все настолько правильно, что, когда лесной черт умер, он пришел и лег в эту могилу, потому что не было ему больше ни места, ни пристанища. Там мы искали мясной цветок папоротника июльской ночью, и нашли, и положили под подушку дяде Володе, который наутро выиграл в лотерею трешку где-то на окраине, и сидит теперь в этой трешке, и пьет днем и ночью, не надо было ему этот цветок подкладывать, а его жене бывшей надо было, но что уж теперь. Наше поле, наша дикая, кровавая, болотистая живая земля, в ней всюду наш волос, наш бледный лунный ноготь янтарным серпиком, наши заклинания, наши летние стихи для смерти (идея Ниэль – придумывать специальные стихи для смерти, чтобы она пришла хотя бы на краешек поля присесть послушать: в стихах должны быть расположены специальные белые пятна, мерцание агонии, аритмичный стрекот чейна-стокса), утренняя мучнистая вода в барашковых копытцах, внимательный взгляд заколдованного бекаса на закате (расколдовать не вышло, но мы старались).

И вот теперь это поле горело, гремело и перекатывалось туда-сюда, как будто Господь пытался свернуть его в барбекю-рулон. Я с ужасом смотрела в окно, зажав уши, а Ниэль визжала, прыгая вокруг:

– Нашеполенашеполенашеполе!

– ...Толькочтовотбуквальноесейчасминутуназад!

Никого из взрослых дома не было, все уехали на авиашоу в город, а на наше поле только что упал истребитель.

С верхнего этажа спустились Леля и Катерина.

– Истребитель, – сказала Катерина. – Я в них разбираюсь. Видела, как падал горящий. Было немного ощущение, что я его сама сбила взглядом.

Сонная Леля, шурясь, уже натягивала кеды и наваливалась всем своим мягким птичьим, щенячьим весом на дверь.

Мы прибежали на наше поле, чтобы посмотреть, что от него осталось. Поле горело и гудело, живого места не было вообще. Взрослые там еще не появились, мы примчали самыми первыми. Леля предложила подойти поближе и поискать выживших: видела в новостях, что люди часто в таких ситуациях, когда упал самолет, лежат просто так лужицами на поле, но вдруг на нашем поле они окажутся живыми. Катерина сказала, что, если это истребитель, в нем был, скорей всего, только один человек, и тот – летчик. Никаких пассажиров. Тогда Ниэль предложила поискать летчика, и мы подошли близко-близко к огню. Было очень жарко, даже на расстоянии нескольких десятков метров от всего этого огненного рулона, но мы все равно пошли.

Находили по дороге разные странные предметы: кожаный пергамент с бахромой, пустые бутылочки, возможно, снаряды или бомбы, кресло, целое, большое, зеленое-зеленое, как трава,

игрушечного медведя (Леля хотела взять себе, но Ниэль ей запретила, больно и цепко схватив за маленький пухлый локоть).

Вначале мы подумали, что летчик катапультировался, но он не катапультировался, а лежал в коровьем озерке прямо внутри катапульты, застегнутый наглухо в какой-то кожаный кокон, и, когда Ниэль его расстегнула и заглянула вовнутрь, она сразу сказала:

– Это наше.

Мы заглянули в кокон и поняли: да, это наше.

Летчик был весь в крови, молоке и каких-то под-топленных кореньях, разбросанный внутри кокона художественно и сытно, как ресторанное блюдо.

Вдалеке были видны фигурки взрослых, по-военному деловито зашумел где-то в небе вертолет. Сейчас они все придут на наше поле и будут разбираться.

– Кокон пусть возьмет Леля, в нем, скорей всего, питательные вещества, – скомандовала Ниэль, высвобождая летчика и хватая его за ногу. Катерина схватила его за другую ногу, я – за круглую, жесткую, как у собаки, голову, замотав ее в куртку, чтобы не видеть лица. Летчик был сухой и легкий, как мешок с выжженной травой; тем не менее, пока мы его тащили, он оставлял за собой скользкий и небесно-прозрачный след, будто гигантская водяная улитка.

– В подвал! – закричала Ниэль, когда мы дотащили летчика до дома. Я отпустила голову, она глухо стукнулась о земляную ступеньку, и летчик сказал: «А». – Ему больно, – объяснила Ниэль, – но ничего, главное – дотащить, а потом мы перевяжем там что надо.

Захлопнули дверь подвала, разложили летчика среди банок с бабушкиным компотом две тысячи шестого, маленькая Леля расстелила кокон, ставший вдруг клетчатым, как плед; все случилось слишком быстро, буквально за каких-то пять минут – не успели ни понять ничего, ни испугаться.

– Так, – выдохнула Катерина. – Я пойду наверх, там пожарные машины приехали.

Ниэль начала возиться руками в районе пояса летчика – там была машинка для регенерации, как она нам объяснила, и черный ящик, который записывал все, что было в его жизни *до падения*, а после падения все стер, потому что никому в такой ситуации про жизнь уже не интересно. Выудив скользкую, покрытую чем-то вроде яичного желтка коробочку, Ниэль вытерла ее подолом взвизгнувшей Лели, открутила крышку и уже через десять секунд вонзила в предплечье летчика стальной звонкий мини-шприц.

– Так везде делают, – объяснила она нам с Лелей. – Может, он и придет в себя. Еще срочно нужно молоко, но обязательно после кошки, чтобы его уже кошка немного попила. Леля, сбегай наверх.

Я побежала наверх с Лелей вместе. Глянули в окно – на месте катастрофы уже собралась большая толпа, по узкой деревенской дороге тащился, причитая и цепляя хромированными рычагами ржавые заборы, пожарный авианосец, черное облако гари тянулось далеко-далеко к реке. Жарило солнце. Хотелось купаться.

Приехал Лелин папа, привез холодных утренних рыб в пакете, запретил идти из дома, черт знает что, говорит, происходит, всё горит, ужасная авария, никуда не идите. Леля взяла из его рук пакет с рыбами, спросила, когда придут остальные взрослые, он замахал руками: идите, идите к себе, все дороги перекрыты пока, не доехать, это же надо, ужас какой, хорошо, что не на наш дом, уводил от домов, говорят, уводил подальше, увел, а сам не смог, не ушел.

Леля, выудившая из пакета самую тихую и покорную рыбу, вдруг замерла с этой рыбой в руке и открыла рот, чтобы возразить – ушел, ушел! – но тут на рыбином тоненьком рту цепко сомкнулись тонкие пальцы выбравшейся неведомо откуда Ниэль, и Лелины зубы будто свело судорогой.

– Мы будем играть в подвале, раз на улицу нельзя! – улыбнулась Ниэль.

Я тем временем сидела под столом и наблюдала, как кошка медленно-медленно, словно во сне, пьет молоко. Через бесконечные пару минут я оттолкнула ее надетым на руку тапочком,

взяла плошку с молоком и медленными шагами пошла к лестнице, пока за окном рвались снаряды, чадила чернотой смородина и рокотал вертолет спасателей, обреченных на провал, – на нашем поле еще никто и никогда никого не мог спасти.

Кроме нас, кроме как от нас. Да и от нас – никак, если честно.

Летчик первые дня три чувствовал себя не очень хорошо – лежал в разных углах подвала одновременно, пару раз был просто какой-то строительной пеной, лица я на нем вообще не видела, но Ниэль уверяла, что удавалось рассмотреть, пока он пил молоко через соломинку – рта еще не было, серьезная авария, но в одну из дырочек в голове вставили соломинку, и молоко исчезало, значит, летчик пил.

Взрослые возвращались из города, пили вино, смотрели телевизор и причитали: какая трагедия, еле увел от деревни, так и не поняли, что толком случилось, говорят, взрыв, горе-то какое, молодой совсем, тридцать три года, а если бы выпрыгнул, то точно бы на дома упал, все бы погибли, вообще все, спас детей, спас, святая душа, святая.

Мы пили молоко и ухмылялись. *На самом деле это мы его спасли.* За окном чернело провалом выжженное поле, и тихие болотные птицы ночами оплакивали своих нерожденных сыновей, раскачиваясь на обгоревших кустах. Катерина отставляла в сторону рюмочку с вином (ей в ее 14 разрешали иногда выпивать со взрослыми) и со скучающим видом шла «в подвал за компотиком».

Конечно, мы должны были сказать родителям, что *мы спасли летчика*, но летчик пока был не в очень хорошем состоянии, видимо, он немного испортился, пока падал, и мы решили, что вначалеждемся, пока он пойдет на поправку, а потом скажем, непременно скажем. Нам бы здорово влетело, если бы взрослые узнали, что мы украли летчика с поля. Если бы он сразу был в порядке – мы бы сразу и сказали. А так мы понимали, что взрослые могут решить, что это из-за нас он такой. Нет уж, надо выхаживать.

Мы с Ниэль ночами пробирались к жженому полю, нюхали черную траву в поисках одной-единственной, которая вернет летчику память о том, как он летел в наше поле кипящим метеоритом. Маленькая Леля ходила с сахарными головками на такое же маленькое сельское кладбище, где жили огромные черные муравьи, – раскладывала сладости по камням и ждала, пока муравьи не наполнят сахарные комочки своей живительной земляной кислотой: летчик мог есть только такие конфеты. Я вызвала Белую Собаку на бабушкину косынку, утиное яйцо и змеиную шкурку – и Белая Собака пришла и дала мне себя подоить, и я надоила где-то полчашки сероватого, перламутрового полупрозрачного молока, из которого Ниэль сделала крошечный сыр, – съев этот сыр, летчик застонал, у него изо рта и глаз пошла кровь, и так мы увидели его рот, полный крепких костяных зубов, и глаза – зелено-карие, как осенние камни. Леля выцарапывала из дерна крошечные стеклянные секретрики с прошлогодними цветами и сушеными насекомыми – мы клали их летчику на лоб землю вниз, и, когда земля проваливалась и оседала, цветы оживали и начинали виться вокруг его лба, и лоб тоже оживал – кожа из пергаментно-восковой становилась медовой и блестящей, а стеклышками после этого мы резали себе руки и писали кровью на полу маленькие записки летчику – пока у него из глаз шла кровь, он мог видеть и разбирать только то, что включало в себя кровь.

«Поле, на которое ты упал, принадлежит нам. Поэтому ты тоже принадлежишь нам», – писала Ниэль.

«Я – Леля», – смущенно выцарапывала стеклом прямо у себя на запястье маленькая Леля, морщась от первой в ее жизни осознанной боли.

«Сколько тебе было лет?» – спрашивала Катерина.

Я нарисовала кровью самолетик на своей левой ладони.

Он схватил мою руку и прижал ее к своей щеке. Это было так неожиданно, что я заплакала и плакала после этого весь вечер, и взрослые сказали, что это все из-за этой ава-

рии, ведь мы всё видели своими глазами, это ужасно, скорей бы уже разгребли обломки с поля и наконец-то выяснили, как это случилось; мне сварили молока с какими-то успокоительными травами, и, пока я пила его, обжигая и выжигая всю себя насквозь, я заметила, какими холодными глазами смотрит на меня Леля, вынужденная в жаркий день носить блузку с длинными рукавами, чтобы никто не видел ее исцарапанных рук.

Взрослые всё говорят, как это было страшно, как проводят расследование, как отказали сразу два двигателя – как это могло случиться? – потом замолкают, испуганно смотрят на нас, неискренне перепрыгивают на темы салатов, куриных закатов, тетиных закаток – а, что? Закаток?

«У нас в подвале штабик, но мы потом все уберем, – говорит Ниэль, надавливая под столом ногой на мою ногу. – Если нужны эти чертовы патиссоны, я принесу». Штабик – это святое. У нас принято: взрослые не лезут, если штабик, а мы потом просто убираем все сами, когда заканчиваем. Так уже было с чердаком и мышинным королевством, нам верят, мы никогда не врем и даже с этим летчиком не обманывали бы, если бы он только был получше, если бы он только стал хоть чуть-чуть получше, как им такое покажешь, пока нельзя показывать ничего.

У летчика меж тем постепенно проявляется лицо – оно все изранено, изрыто копытцами, в которых застоялась талая болотная весенняя вода. Чтобы копытце затянулось, нужна живая плоть. Чтобы оживить плоть, надо взять из плова немного барашка, пойти на поле, вложить барашка в подходящее по размеру утреннее барашковое копытце с утренней же водой (вечерашнюю воду нельзя, надо после дождя поэтому приходиться), вызвать Белую Собаку на три утиных яйца и большую конфету «Кузнечик» и попросить ее помочиться в копытце – тогда барашек прирастет к копытцу и можно его осторожно вырезать, чтобы не повредить землю вокруг, резать только по мясному, по земляному нельзя. А потом уже вкладывать туда, где у летчика чего-то не хватает, и, как правило, приживается. Если приживается, то летчик не стонет, может иногда даже пытаться сесть или что-то сказать. Если не приживается, надо срочно вырезать и отнести обратно в плов. Плову не важно, взрослым не страшно, ничего с ними не станется, в плове и так все мясо неприжившееся.

Чтобы летчик проявлялся как мужчина, а не как женщина, Ниэль заворачивает его в краденые грязные рубашки дяди Володи, которые она тщательно вымачивает в отваре из кошачьей шерсти, – шерсти у нас полон дом, потому что кошку часто тошнит серыми шерстяными колбасками. Рубашки летчик полностью принимает в себя – они пропитываются потом и становятся чем-то вроде новой ожоговой кожи, и уже на пятой-шестой рубашке летчик выглядит почти нестрашным, почти не обожженным, и это все уже почти тело, и это уже вполне почти жизнь, но взрослым пока что еще *не надо*.

По вечерам Ниэль читает летчику свои тексты из серии «Эльфы серебряной реки». Мы немного подустали от ее безудержной графомании и потому вначале даже радовались, что теперь все это батальное великолепие достается летчику, пока не поняли – когда он уже заговорил, – что его лексикон во многом складывается из эпоса Ниэль. Это выяснилось однажды вечером, когда он сам – впервые! – взял в руки и выпил чашку компота из сухофруктов и собранных на десятый лунный день однодневок-огневок, традиционно устилавших своими прозрачными тельцами чердачный пол. Леля, которая принесла ему компот, смутилась, уронила чашку, неловко рассмеялась, и тут он сказал:

– Сила, которая тебе дана, – это вовсе не та сила, которую ты используешь.

Это была первая связная фраза, которую он произнес. Леля была ужасно тронута тем, что фраза предназначалась ей, но содержание фразы – явно влияние Ниэль. Мы тут же запретили ей читать летчику свои эльфийские истории, тем более что летчик уже заявил Леле, что его зовут Силлемаль из Долины Стальных Шипов, что, конечно же, было полной чушью, не так его зовут, а как – вот это серьезный вопрос. И для этого нужно пробудить в летчике память.

Пробудим память, а потом расскажем взрослым, решили мы. Пока будем носить эти тяжелые стеклянные компоты туда-сюда самостоятельно.

Повесили на подвальную дверь дополнительный замок, по ночам ходили дежурить по очереди, кормить надо было по ночам, по часам, как птенца, – и едой обязательно живой: оживляли для него маленьких рыбных мушек, оживляли двойные желтки самых крупных яиц пятницы, как-то даже получилось оживить рыбку.

Съедаая оживленное, летчик становился все более здоровым – точнее, выглядел как выздоравливающий от болезни, название которой ни одна из нас так и не произнесла, но все, разумеется, его знали. Во время дежурств разное происходило, конечно. Ниэль, когда возвращалась от него, рассказывала: она приходит, а у него на груди еж сидит. Кот сидит, где больно, а еж сидит, где не больно, это все знают. Выходит, ему там, где душа, не больно? Но он чувствует что-то вроде тоски, рассказывала Леля, – просил у нее бумагу написать письма своим родным, но не мог вспомнить ни своего имени, ни фамилии, ни того, что с ним случилось, ни родных. Просто помнил: письма родным. Ны-ны-ны, дай-дай-дай – стонал страшно и бился головой о трехлитровую банку огуречной закатки минувшего сентября, и банка церковно звенела, как пасхальный набат. У меня попросил кекс из красной муки, чтобы уйти домой. Так и сказал: это мне, чтобы домой уйти. А где дом – не помнит.

Мы сходили на наше поле, конечно, собрали там немного красной пшеницы, но нас выгнали следователи – прочесывают поле с собаками, всё ищут какие-то ящики, свидетельства. Ничего не найдут. Красной пшеницы было немного, с коробок спичек, и Ниэль сказала, что пока не нужно ничего печь – возможно, он вспомнит и так. А когда вспомнит – скажем взрослым, и они отвезут его домой, то-то там все обрадуются, наверное, заждались уже!

Чтобы вспомнил, пускали по нему ходить улитку без панциря три раза туда-сюда, делали пудинг памяти (в прошлый раз мы делали такой для Катериной бабушки, когда та начала путать наши имена, – все сработало, несмотря на то что жир был не лосиный, а обычный коровий), вызывали прямо в подвале Заячью Королеву (три пустых скорлупки от перепелиных яиц, высушенная летним солнцем жаба, конфета «Гомельчанка», две игральные карты крестей, все переплести зеленой ниткой) – она взяла у него небольшое интервью и вроде бы даже добилась каких-то внятных ответов, но не отдала нам запись, так и ушла с диктофоном, раздавив скорлупки стальными копытами.

Подниматься он еще не мог, но довольно сносно ползал туда-сюда по подвалу, отчего Катерина называла его Мересьевым, чем ужасно нас раздражала. Однажды, когда мы поили его шестимильной водой в надежде пробудить иссохшуюся, как дерево, память, он вдруг вспомнил именно этот эпизод с Мересьевым и сказал, что не хочет больше, чтобы Катерина дежурила по ночам.

Всю ближайшую неделю Катерина проплакала у себя в комнате. Вместо нее дежурила я – мы с летчиком пытались рисовать картинку о том, кто он на самом деле: я брала его руку в свою и рисовала ножом на бумаге треугольную крышу – домик? Летчик рвал бумагу, рычал раненым зверем: не домик, не домик! Я спрашивала: что тогда будем рисовать? Шар? Самолет? Самолет?

Каждый раз, когда я говорила «самолет», он начинал плакать. Его слезы, соленые и резкие, как огуречные банки, служившие ему ложем и прикрытием, пахли дождем и морем, и Катерина, чувствующая этот резкий, пряный запах, отшатывалась от меня всякий раз, убегающая в свою комнату. В конце концов она просто прекратила со мной разговаривать. Взрослые перешептывались: депрессия, трудный возраст, влюбилась, пора уже, подросток же.

Следующей влюбилась Леля. После своего очередного ночного дежурства она вернулась в нашу детскую вся трясущаяся мелкой дрожью, бледная, с пылающими алыми пятнами на

щеках – будто брызнули кровью, будто кого-то обезглавили прямо на ее глазах, щедро махнув стальным клинком.

– Он... он попросил... – возмущенно сказала она и разрыдалась так отчаянно и громко, что у любого бы разорвалось сердце, и только бессердечная наша Ниэль тормошила ее, дергала, щипала за пухлый локоть, шипела: «Ну давай же, давай говори, что он попросил, что!»

– Попросил написать от него письмо... – всхлипнула дрожащая Леля и снова зашла в рыданиях. – Письмо жене... написать письмо его жене! Вот что! Вот оно что! Жена у него есть!

И Леля, вырвавшись из щипучих, злобных объятий Ниэль, с разбегу упала на свою огромную розовую подушку, усыпанную маленькими пони.

Ниэль посмотрела на меня с отчаянием. «Кто бы подумал, что малютка окажется такой впечатлительной», – говорил ее взгляд. «Не нужно было позволять ей царапать руки стеклом», – говорил в ответ мой взгляд. Мы с Ниэль понимали друг друга без слов. И сейчас, глядя одна одной в глаза, мы чувствовали, как розовая подушка Лели наполняется до краев ее водянистыми слезами, пряными и прозрачными, как розовая вода.

От расстройства Леля отказалась ходить на дежурства, поэтому к делу снова пришлось подключать Катерину – летчик быстро забыл о том, что она его чем-то обидела, поэтому они очень сдружились. Когда летчик просил Катерину написать письмо его жене и сказать, что с ним все в порядке, потому что она наверняка волнуется, Катерина послушно приподнимала бровь, уходила, шурша юбкой, приносила жесткую оберточную бумагу, слюнявила карандаш и вопросительно смотрела на летчика: ну? Как зовут? Аня? Лена? Юля? Даша? Ирина, может быть?

– Я не помню, – рыдал летчик жирными, тягучими, свечными слезами (Катерине он всегда рыдал именно ими, для каждой из нас у него были отдельные слезы). – Помню дорогая кто? Друг маленький зайчонок чего? Человек как? Жена была, точно была жена.

– Капитолина? – ухмылялась Катя. – Василиса?

Летчик размазывал по свежему, детскому почти, безбородому своему лицу слезы и жир, слезы и жир. От Катерины практически всегда пахло жиром, а позже начало пахнуть еще и алкоголем: летчик попросил выпить, и она покорно, как загипнотизированная, таскала для него родительский алкоголь, а потом начала пить с ним вместе, чтобы он вспомнил. Он действительно вспоминал какие-то военные истории. Но они явно не относились к делу. Со временем они вдвоем даже написали около пяти писем женам летчика, но оказалось, что это были не те жены, точнее, не те жизни, летчик вспоминал *что-то не то* – как разбитое старое радио, он ловил чужие эпохи, чужие времена, настраиваясь на тихое фальшивое дребезжание давно прожитого и забытого своими тайными учителями, сгоревшими за добрую сотню лет до того, как сгорел он сам.

Как горел *в этот раз*, тоже не помнил: все прошлые разы более-менее вспомнили, разобрали, а этот – нет, не может. Алкоголь не помогал, тихие травяные заклинания сообразительной Ниэль, мигом догадавшейся, что процесс обретения памяти завел нашего нового друга не туда, тоже не помогали, и даже наша с ним тихая, почти тайная дружба – а я уверена, что это была именно дружба, – не вела никуда, кроме как к провалу, беспмятному колодцу бездны.

– Помню, как хоронили, – рассказывал он. – Играл военный оркестр, разбрасывали конфеты всюду во дворе, как будто свадьба. Все три жены за гробом шли, как на параде. Но только одна ордена прикручивала, когда застыл, только одна на них потом лицом падала, когда закончилась музыка, только одна. Как же ее звали-то? Галя? Галина?

– Не вспоминай, – говорила я ему. – Это не то, это не твое. Это и у меня было. Так и меня хоронили тысячи раз – и с музыкой, и без музыки. Один раз просто в белую рубашку завернули и пустили по реке. А другой раз жгли вместе с кошками на белом костре. Но я это не

вспоминаю, имен всех, кому мой последний пожар выжиг душу, не помню и помнить не хочу, потому что в этой жизни меня зовут Надя, прожила я всего 13 лет, помню только это наше поле, эти наши игры, помню самолет, помню самолет, самолет.

Каждый раз, когда я говорю про самолет, он хватает меня за руку и трясется, обливаясь слезами. Возможно, поэтому я часто говорю про самолет. Тем более что вся моя жизнь ужалась до этого самолета – до самолета не было ничего, а все, что было после самолета, не касается никого, кроме нас с ним.

Впрочем, Ниэль была уверена, что это касается и ее тоже. В тот воскресный день, когда я увидела ее играющей с деревянными дракончиками, которые вырезал для нее летчик (в подвале я видела обрезки деревяшек), разозлилась на нее так, как будто она не была моей сестрой, принцессой, боевой ведьмой и лучшим другом.

– Ничего такого, – разозлилась она в ответ, когда заметила по моему взгляду, что я недовольна. – Просто захотел сделать мне что-то приятное.

Я сказала, что летчику надо *выздоровливать*, а не делать нам приятное. Тогда она ответила, что я сама давно забыла о том, для чего мы его притащили с собой, и что она видела, как я глажу его лицо руками, интересно зачем. Тогда я сказала, что лучше бы она поговорила на эту тему с Катериной, потому что они вообще там бухают по ночам, и непонятно, что у них происходит, и Катерина является вся черная, как туча, и ни с кем не разговаривает, и ни на какие вопросы не отвечает. Тогда Ниэль сказала, что лучше бы я обратила внимание на Лелю, потому что вообще-то уже давно никто из нас не видел Лелю, куда она делась? Ушла в поле и проросла там мясно-ю травую? Превратилась в белую болотную цаплю? А у Лели, между прочим, разбито сердце.

Оказалось, что Леля с разбитым сердцем уехала в город со взрослыми – именно поэтому мы не видели ее несколько дней. К выходным она приехала – тонкая, повзрослевшая, с дрожащими губами – и сказала нам с Ниэль:

– Я почитала газеты. И я знаю, как его зовут. Звали. Я знаю имя. Но я вам его не скажу. Мы обе пожали плечами: не хочешь говорить – не нужно.

Тогда Леля спустилась в подвал и, как мы поняли, все-таки сказала летчику его имя – видимо, это была ее личная маленькая минутка триумфа, окончательная победа влюбленности над здравым смыслом: услышав имя, летчик попытался встать, как будто его зовут где-то на другом берегу, но задергался, упал и разбил голову о томатную пасту в полуторалитровке. Это объединило нас на несколько часов, пока мы носились туда-сюда с тряпками, полотенцами, бинтами и толченными в ступке таблетками стрептоцида (поскольку летчик был уже практически живой, мы поняли, что лучше лечить его человеческими таблетками для живых). Но потом снова началось: Катерина отказывалась говорить нам, о чем они с летчиком пили вино две ночи напролет, Леля убегала на реку поплакать с плеером Ниэль и всеми ее дисками Radiohead, сама Ниэль неожиданно призналась мне, что у нее в жизни вообще не было ни одной по-настоящему родной души, только этот летчик и все его чертовы драконы. Поле ее уже не интересовало – драконы шептали ей другие сюжеты, другие истории, и по вечерам она долго писала что-то неведомое и жаркое в своей зеленой тетрадке – тексты, предназначенные только для тех, кто упал с неба на землю, не иначе.

Когда мы спустились к нему все вчетвером, чтобы выяснить, кто из нас должен стать ему женой, летчик закрыл голову руками, как при артобстреле, и начал страшно кричать. Мы испугались, что услышат взрослые, и выбежали из подвала.

После этого ходить к нему можно было только по одному. Мы постепенно понимали, что без этих визитов наша жизнь и наше лето превратятся в непрекращающуюся разлуку и кошмар. Но всё еще пели на закате тоненькие морские песни кровяные комары, и хохотали взрослые на веранде, отмахиваясь от летучих мышей, и пьяный папа купался в жабьем бассейне, и соседские дети кричали идущей за хлебом в автолавку Ниэль: «Ведьма, ведьма», пока она,

прищурившись, расстреливала их из указательного пальца: каждого ровнехонько в левый глаз, через три года поймут почему, но поздно будет.

Летчик ел все, что мы ему приносили, пил молоко и жадно обсасывал бараньи ребрышки, периодически стонал и пытался вспомнить свое имя, забытое во второй раз окончательно и навсегда после того удара головой о полуторалитровку. Мы записывали письма, которые он диктовал неким своим несуществующим родственникам, и прятали их друг от друга так яростно, как будто мы и есть эти будущие родственники – через пять, десять, пятнадцать лет. Иногда мы робко говорили о нем: «Вспомнил имя? Нет? Ну и хорошо – нельзя, чтобы вспомнил. Если вспомнит, то нам всем смерть, лету конец». Маленькую Лелю, которая знала имя и могла снова наделать бед, мы к подвалу не допускали, попросту забрав у нее, царапающейся и воющей, как попавшийся в капкан лесной зверек, ее персональный ключ на смешном лиловом брелоке с совенком.

Ближе к концу лета на наше поле приехала его жена. Положила цветы вначале, ходила туда-сюда, глубоко дышала. Потом стояла, нюхала воздух, как животное, у нее дрожали ноздри. Металл и обломки уже растащили, остались только ямы и выжженный чернозем. Мы стояли недалеко, молчали, не выдавали. Жена падала на красную землю, каталась по ней, как огненная лисица, потом брала в руки эту землю и ела ее. Мы молча смотрели.

– Горе, вот горе у человека, – шепчутся взрослые, уводя ее под руки.

Проходя мимо нас, она останавливается, берет Ниэль своими кровавыми земляными пальцами за подбородок и говорит:

– Отдай мне его.

Ниэль с визгом дергается и убегает, как олененок, в сторону леса.

– Она сумасшедшая, – успокаивают нас взрослые. – Пожалуйста, не бойтесь. Горе такое, заживо сгорел, и это чтобы вы жили, чтобы не на ваш дом, понимаете? Успокойтесь, ну успокойтесь же.

Леля плачет и не хочет успокаиваться. Мама обнимает ее и ведет в дом. Леля – хитрая лисица: она рыдает не потому, что жалеет эту женщину, а потому, что мы забрали у нее ключ.

Я спускаюсь в подвал, летчик лежит и читает книгу «Два капитана».

– Если бы я сказала тебе, что там, в настоящем мире, есть женщина, которая утверждает, что ты ее муж, это бы что-то изменило? – спрашиваю я.

– У меня была жена, но я ничего не помню, – говорит летчик. – Поэтому какая разница – ведь это может быть кто угодно, какой угодно человек.

– Это значит, что ты всегда будешь тут, с нами? – спрашиваю я.

– Нет, – отвечает он. – Я уже достаточно окреп. Когда я пойму, что снова могу твердо стоять на ногах, мне придется улететь. Мне домой надо. Домой бы.

– Ты еще слишком слабый же, – дрожащим голосом говорю я.

– Мне нужен кекс из красной муки, – повторяет он.

Мы не хотим его отпустить, а он все просит этот чертов кекс и домой.

В тот же вечер его жена пришла к нам. Дверь открыла Катерина, она сразу на нее бросилась, в волосы вцепилась: ты с ним спала, ты с ним спала!

Как-то оттащили ее, взрослые снова извиняются: сумасшедшая, такая беда у человека, пожалейте ее, простите, приехала сюда посмотреть на место гибели, и переклинило, горе-горе, скоро уедет.

Не уехала, вернулась наутро – бледная, спокойная, извинилась. Попросила взрослых выйти – говорит, с детками хочу поговорить вашими, кое-какие важные вещи хочу сказать.

– Я знаю, что он у вас, – сказала она нам. – Не спрашивайте, как я узнала. Где вы его прячете? Пожалуйста, отдайте мне его. Он мой. Вам может показаться, что он ваш, – это нор-

мально. Так бывает. Но это неправда. Вашего еще не случилось, все ваше случится потом. Отдайте мне мое и идите дальше.

– Вам лечиться надо, – сказала, всхлипнув, Катерина. – В психушку.

– Вообще нельзя так говорить про людей – мой, не мой, – затараторила Леля. – Это неправильно, это высокомерие какое-то, и даже не в возрасте дело, что вы взрослая, а мы еще дети, какая разница? Человек никому никогда не принадлежит. Откуда вы знаете, кто ваш, а кто не ваш? А если до вас я поняла, что, скажем, какой-то человек мой, а только потом узнала, что он ваш, – это что-то меняет?!

– Леле тоже надо в психушку, – улыбнулась Ниэль. – А вам нет. Вы очень устали. У вас случилась большая беда, и я вам очень сочувствую. Я понимаю, что вам кажется, что мы в чем-то виноваты, – ведь мы прибежали туда первыми, мы видели это всё. Возможно, вам кажется, что, если бы он не пытался увести самолет от жилых домов туда, к полю, он бы успел катапультироваться и был бы жив, – и, наверное, мы кажемся вам несправедливо живыми, как будто мы живем вместо него. Но мы ничего не можем изменить, понимаете? Да, мы ему благодарны – в смысле, возможно, если бы не он, нас бы не было. Поэтому вам и кажется, что он у нас – как будто мы его где-то прячем. Его жизнь как бы превратилась в наши четыре, он внутри каждой из нас. Мы не можем вам его отдать – так же, как мы не можем отдать вам свои жизни или свои души. Возможно, в каждой из нас теперь частичка его души.

В это мгновение, конечно, я поняла, как я ей восхищаюсь.

Ниэль подошла к жене нашего летчика и обняла ее. Наступил момент всеобщего облегчения. Жена немного поплакала у Ниэль на плече, потом подняла голову и неожиданно злым голосом сказала:

– Так где он, вы мне его вернете?

Я перехватила ее взгляд, и мне стало не по себе: она откуда-то, черт подери, действительно *все знала*.

Когда вернулись взрослые, мы сообщили им, что жена летчика и правда сумасшедшая и что она, помимо всего прочего, обидела маленькую Лелю, наговорила ей гадостей, – тем более что Леля и так ходила зареванная, вот и нашлось этому объяснение. Жену куда-то увезли в специальной белой машине, мы дождались ночи и спустились вдвоем с Ниэль в подвал, чтобы принести летчику свежие булочки и молоко.

Он ел и пил жадно, как военнопленный, потом сел, потянулся, треща суставами, и медленно-медленно встал.

– Нормально! – сказал он. – Немного шатает, а так нормально. Можно лететь уже. Вспомнил, куда лететь, к тому же. Домой то есть полечу. Пора. Осень скоро.

– Но ты же даже имени своего не помнишь, – сказала я.

– Не помню, – согласился летчик. – Но зато вспомнил, где дом. Теперь полечу туда, пока не поздно. А то уже почти поздно. Нормально все, долечу теперь. Не будет уже как в прошлый раз.

– А что было в прошлый раз? – спросила я, но Ниэль зашипела мне в ухо: «Дура, *прошлый раз – это мы!*»

После трех, на рассвете, мы осторожно вывели его из подвала, тихо прошли по спящему дому, прикрыли, не захлопывая, скрипучую дверь в прихожей.

В поле уже стоял новенький крошечный самолет – похожий то ли на фильмы, то ли на сны.

– Ты не попрощался с Катериной и Лелей, – строго сказала Ниэль. – Так нельзя.

Летчик задумался.

– Катерина бы меня не отпустила, – сказал он. – Может, так и лучше. А Леля еще слишком маленькая.

– Мы тоже маленькие, и что? – возмутилась Ниэль. – Но мы же все вместе тебя спасли. Так нечестно.

Летчик ничего не ответил. Наверное, *мы просто не всё знали*.

На краю поля он обнял вначале ее, потом меня. До этого меня никогда еще не обнимал ни один мужчина, поэтому я постаралась хорошенько запомнить, как это происходит, но не запомнила ничего, потому что так и не поняла, происходило ли это на самом деле.

– Все, вам дальше нельзя, – сказал он и пошел в сторону этого дымного, светящегося рассветного самолета.

Мы стояли и смотрели ему вслед, понимая, что ни одна из нас ни в чем другой не признается.

– С булочками, значит, молоко? – спросила я Ниэль, когда мы, по пояс мокрые от росы и слез, подходили к дому.

– Угу, – ответила Ниэль. – Та красная пшеница, которую я всегда носила с собой в спичечном коробке. Не было моих сил больше смотреть. Жалко.

– А меня тебе не жалко? А себя тебе не жалко? Мы же всё ему отдали, всё для него сделали, спасли его, буквально из кусочков обратно сложили! Не жалко тебе этого времени? Лета этого не жалко, нет?

– Всех нас жалко, – сказала Ниэль. – И лета жалко. Но за нами еще прилетят потом. Другие прилетят. И лето еще будет, другое. А тут – ну, видела сама. Может, и не будет ничего больше. Короче, надо было отпустить.

На крыльце дома нас уже ждали мрачные, задумчивые фигурки Катерины и Лели. Ниэль набрала воздуха в легкие и сделала особенное самурайское лицо. Нужно было как-то все им объяснить, хотя что тут объяснишь – выздоровел и улетел.

Через несколько дней взрослые, взволнованно пошептавшись, сказали нам, что жена нашего летчика ушла вместе с ним.

Видимо, улетела.

Просили не переживать и не принимать ничего на свой счет. Но нам нечего было принимать на свой счет. Она хотела, чтобы мы его отпустили, – мы отпустили, и она тут же ловко и быстро, каким-то проверенным способом укатила к нему. Этот ловкий побег в счастье нас не касался – у каждой из нас в груди kloкотала своя собственная трагедия, невозможная, огромная и трепещущая, как нераскрывшийся парашют. Я переживала потерю своего единственного и, возможно, последнего в жизни близкого друга; Катерина расставалась с воспоминанием об идеальном мужчине; малютка Леля оплакивала свою первую настоящую любовь; Ниэль же молча сидела на подоконнике, обложившись книгами и деревянными дракончиками, и всё чиркала что-то в своих блокнотах.

– Он все равно это не прочитает никогда, – чтобы уязвить ее, испекшую тот самый чертов кекс, сказала однажды Катерина.

– Если не напишу – прочитает, – ответила Ниэль. – Поэтому пишу. Единственный шанс от него как-то отвязаться.

Но было ясно, что не отвязаться уже никогда. Лето заканчивалось. На наше поле мы больше не ходили – ни этим летом, ни следующим. Мы понимали, что наше болотное летнее волшебство больше не будет работать, – взросление и оказалось той неприятной ценой, которую нам пришлось заплатить за то, что мы так никогда и не смогли назвать ни одним из существующих в природе слов.

И потом, *это было уже не наше поле*.

Сад для игры в волка

Ему позвонили и сказали, что на следующей неделе его очередь играть в волка. Его это раздосадовало, он переспрашивал два раза в телефон: точно? точно? я же играл ровно четыре года назад, разве не достаточно мне? Нет, вам все еще недостаточно, сообщила телефонная трубка и зависла в цветочном прощальном воздухе, как колибри, мигая искристым, костистым язычком тоньше паутинки. Предчувствие игры в волка превращало пространство в осенний сад: полупрозрачные паучки поплыли по кухне, как тканые сном фрегатики, повалил кулем из духовки тяжелый хризантемовый смрад, повеяло вечным дачным закатом.

Он попрощался с женой и ребенком, подумав о том, что, если бы знал, не заводил хотя бы ребенка. Что будет с ним, если что будет с ним? Рассыпавшееся в его сознании неясное, неопределяемое, раздвоенное «с ним» оседло все вокруг неким сном и металось внутри жуткого жженого разума, как лошадь, запертая в горящем сарае. С кем что-то будет? Опасность? Тут он взял себя в руки: ребенок был еще маленький, и его никому бы не пришло в голову пригласить играть в волка; жена его тоже была маленькая, едва за двадцать, она ни в чем никогда не провинилась, подумал он криво и с перебоями, ей в волка играть не необходимо. Но ему было необходимо играть в волка, и эту фразу он повторил жене, когда она переспросила, правильно ли она все поняла и как быть со всеми этими бумагами, если вдруг когда.

В волка в этот раз играли на базе отдыха «Селенка». Раззнакомились за обедом. Как обычно, их было около дюжины, все назвались, покивали друг другу. Имена были разными, но незапоминаемыми, привычное дело. Женщина с раздутыми артритными локтями ковыряла ложкой недееспособную надорванную тефтелю так, словно тефтеля страдала и ее было необходимо добить, но тефтеля уворачивалась, элегантно конькобежцем ловко скользила по кровавой подливке к серебристому льдистому краешку, потому что не чувствовала боли, не понимала своего положения. Старик в орденах, добрая половина которых явно была фальшивой, что-то строчил в блокноте, будто швейная машинка. Принесли клубничный ажурный мусс, кто-то отказался есть, сославшись на стресс, дрожь и дождь. Кто-то пытался поболтать с остальными о том, как ему никогда еще не доводилось играть в волка, но беседа не задалась, никто не хотел общаться.

Ходили в кино, гуляли в парке, он сидел с книгой в саду среди роз или тех осенних оранжевых цветов с душливым шкафным запахом. После ужина разошлись по номерам, горничные разнесли хрустящие пакетики с таблетками, надо пить, утром все сдают анализы.

Ночью он открыл глаза. Вокруг расстилалась мерцающая, сияющая неонем и мглой чернота бесконечно приветливых пространств. Пахло мхом и дымом, где-то вдали копошилось, дышало, жило. Кожа жала, душа была мала, и зажатое в ней угловатое, полное сгибов и прыжков тело рвалось за предел души быстрыми, тугими толчками. Он помчался по смраднему, будто коррида, холлу, впереди сияло и переливалось, цель казалась ясной и чистой, как стакан воды в невыносимо жаркий летний день: схватить, выпить, разбить. Дверь, из-за которой сладко разило жаром и кристаллами луны, игриво не поддавалась и мялась под ударами: надавил, разбил, заново удивившись легкости, с которой все рассыпается и поддается. На кровати спало неясное, похожее на накачанное водой и воздухом кожаное одеяло, утыканное кровеносными сосудами и колышущимися прорезями желтоватых слезистых глаз. Запах кристаллов и раскаленного гвоздичного леденца стал невыносимым, будто ком горелой шерсти в горле; вцепился, не глядя, разорвал, вначале вдохнул, потом выпил, потом выдохнул все, что осталось, и еще что-то медленно делал не по правилам или по правилам: все было такой дурман и кристалл, что правила как категория поплыли, как дымящиеся уточки в парке, – гладь, скольжение, покой, покой. Почему уточки дымятся, он не успел понять: расцарапал, выдохнул, погузил.

Когда он проснулся, на завтрак идти не хотелось, но пришли и потребовали явиться. За завтраком объявили:

– Наступило утро, и выяснилось, что волки убили Иоахима. Нам очень жаль, что так вышло. До вечера вы должны решить, кто из вас волк.

Снова перезнакомились, все снова назвали имена. Было лень что-либо обсуждать, все выглядели незнакомцами, после недолгой пикировки сообща решили, что Иоахима (кто бы он ни был) убила бесформенная и бесстрастная женщина лет сорока, выглядящая так, словно ей уже изрядно надоело находиться среди живых. Что она тут делает, было не очень понятно, но явно за что-то попала, никто не будет играть в волка по собственному желанию.

Он заметил среди присутствующих относительно молодую девушку, попытался вспомнить, как ее зовут. Девушка улыбалась мелкими сероватыми зубами и будто извинялась, когда указывала пальцем в сторону бесформенной женщины.

После ужина у бесформенной женщины была защита. Она заранее подготовила фильм о своей жизни: оказалось, что она была неплохой журналисткой, писала искрометные социальные репортажи, помогала бездомным, делала пару проектов для детских приютов. Дома у нее три собаки, тоже из приюта, отдать некому. Фильм был снят потрясающе хорошо. В титрах появились бесчисленные списки благодарностей. «У меня много друзей», – призналась бесформенная женщина. Видимо, друзья помогли ей с фильмом.

– Почему тогда некому отдать собак, тут явно ложь! – зашумели в зале.

– Заранее сняла фильм, явно же она волк!

Бесформенная женщина растерянно сказала, что, если бы она была волком, у нее не было бы дома собак, это же очевидно.

– Одолжила собак! – резюмировал зал. – И друзей одолжила. Чтобы все выглядело: ой, не надо меня убивать, смотрите, что у меня есть.

Возможно, ее и правда не стоило убивать, но все устали и хотели поскорей закончить день. К тому же никто не успел ни к кому привязаться, и было относительно неважно, кого убивать. Как правило, во время игры в волка в первых раундах убивали каких-нибудь неприметных людей, быстро и облегченно соглашаясь друг с другом, – в случае несогласия умирал следующий по алфавиту, обязательно кто-то должен был умереть.

Все пошли спать, а женщину увели медсестры – ставить капельницу: убивали в игре гуманно, если, конечно, убивал не волк.

Ночью он проснулся от запаха сигарет и разорванной заживо семимесячной дикой индейки – будто бы птицу, еще кричащую, мгновенно начинили дымящимися окурками. Мчал на запах, действительно нашел полуживую индейку, фаршированную раскаленным пеплом и задиристо клокочущую. Измазала его всего кровью. Доел, закурил, привалился к стене.

Наутро выяснилось, что волки убили Глицинию. Он не помнил, как выглядела Глициния, кто-то сказал, что это была та суховатая тетка, похожая на учительницу старших классов, не жалко. Тем более что именно Глициния, кажется, во время вчерашнего обсуждения больше всего нападала на молодую девушку с серыми зубами, утверждая, что волк именно она.

С другой стороны, а вдруг она и правда тоже волк, подумал он. Вероятно, он всегда убивал первым, а она входила в комнату следом за ним. К тому же индейка была уже надорванная.

После обеда он нашел девушку в библиотеке и поинтересовался у нее, подозревает ли она, кто волк. Девушка выглядела испуганной:

– Мне кажется, что он – я. Что делать в такой ситуации?

– Как можно не знать?

– Мне говорили, что иногда волк не знает, что он волк. Это помогает: он тогда всегда почти отбивается как-то, убедительно у него все выходит. Ну и посмотри сам, Глициния вчера на меня наезжала, а сегодня ее убили.

– Первый раз? – спросил он.

– Да. Я знаю, что если выигрываешь, то в следующих играх уже *знаешь*, волк ты или не волк. Потом легче, наверное. В этой игре один волк или два, ты не в курсе?

– Я не думаю, что ты волк, – ответил он. – Ты красивая и добрая.

Она покачала головой.

– Мне не жалко Глицинию.

Он попробовал ее обнять.

– Ночью я к тебе приду, – зло сказала она.

Ей было страшно, это очевидно.

Впрочем, подумал он, вдруг их и правда два волка в игре. Это было бы замечательно. Возможно, она застенчивый волк и поэтому боится убивать, особенно в первый раз. Потому и индейка была только начата. Заволновалась, не закончила, вышла покурить. Он, кажется, в первый раз тоже практически не убивал никого.

Девушка ему нравилась, от нее пахло дождливым, чуть грязноватым фарфором, который словно пролежал полдня в утренней мглистой луже.

Вечером голосовали и приговорили какого-то кастрюльного полковника, неприятного и немолодого. От него и правда пахло чем-то волчьим, какой-то звериной рвотой и сарайчиком. Не было сил, все устали и вели себя так, будто никому не интересно, кто на самом деле волк. Игра выходила совершенно неазартной. Всем словно хотелось, чтобы она поскорей закончилась, неважно как.

Только какой-то модный бородач все зыркал на него, шикал: эй, а почему не обсуждаешь? Почему не участвуешь?

– Не хочу, – ответил он. – Я уже не первый раз тут.

Полковника явно удушили от безысходности.

Перед сном он произнес речь о своих воинских заслугах и показал слайд-шоу про своих внучек: одна жонглировала сахарницами, умудряясь не просыпать ни крупинки, другая чем-то болела и все время лежала в разукрашенной лентами цветочной кровати. Полковник сидел у нее в изголовье и читал ей глянцево-болезненно сверкающие пестрообложечные книги. Это выглядело впечатляюще, кто-то в темном зале расплакался, завсхлипывал.

– Ой, да ладно, – кто-то завозился, злобно прошипел: – Бабушка-бабушка, почитай мне на ночь. А почему у тебя такие большие уши? А это чтобы вешать тебе на них лапшу, дорогая внученька.

Полковника не оправдали и проводили, а наутро волк убил молчаливую бабушку, которая все прошедшие три дня сидела в уголке и вязала что-то квадратненькое, уже теперь не понять что, остановилось вязание, исчез вялотекущий, самосоздаваемый во времени объект, точка, моточек, все выбросили.

Убийство бабушки взволновало оставшихся, игра в волка как-то оживилась.

Сразу несколько человек указали на него.

– Вряд ли, – услышал он голос девушки, которая ему нравилась. – Если бы он был волком, он бы убил этого (тут она назвала имя смурного модного бородача). Не очень понятно, зачем он убивал бабушку.

Не очень понятно, все понятно: бабушке ночью снилось, что ей три годика и она купается в прохладном горном родничке; унюхал журчание свежести и помчал, чтобы впитаться в ее собственный пульсирующий родничок вечной хрусткой спелости; и был он на вкус как морозный персик и трескучий ломкий устричный шар, взрывающийся во рту мятным колким переливом сверкающих хрустальных брызг. Что же тут непонятного. Хотя лучше бы бабушке снилось, что она бабушка. По идее, надо было замочить бородача.

Перед ужином он всерьез забеспокоился, что следующей ночью убьет девушку, которая ему нравится. Он подошел к ней, чтобы поблагодарить за защиту, спросил, не страшно ли ей.

– Я точно волк, – ответила она. – Меня же не убивают уже три ночи подряд. Что же делать? Я не хочу быть волк. Я что, убила бабушку? А я могу признаться: я волк, убейте меня? Давай я признаюсь.

Вечером объявили танцы – видимо, чтобы как-то всех развеселить, раскрепостить. Танцевали с девушкой, прижавшись друг к другу, как ландыши в нитяном хрустящем букетике из подземного перехода. Когда входили в пятно тьмы, прижимался губами к ее вискам, она выворачивалась, вздыхала, потом жарко облизала его ухо.

– Зайди после ужина ко мне в номер? – сказал он. – Я в седьмом.

– Зачем номер? – возмутилась она. – Если я волк, я не должна знать, в каком ты номере. Вдруг я волк и я тебя убью.

– Давай в саду после ужина тогда, – попросил он. – Там, где я с книгой сидел, помнишь?

– Меня вечером убьют, – сказала она. – Я не могу, я признаюсь им, что я волк. Ну или давай после игры увидимся где-нибудь в городе.

– Шансов мало, – он покачал головой. – Чисто статистически. Даже если мы в одной команде.

Он хотел сказать ей, что он волк, но в прошлый раз уже было такое: он признался одной симпатичной девушке, что он волк, а потом той же ночью зачем-то убил ее и съел всю целиком. Волк всегда так делает: волк спасает себя, волк знает, что делать, чтобы выжить. Человек глуп и влюбчив, человек слаб и сентиментален. Волк мудр и спокоен. Все знания, получаемые от человека в себе, волк использует на пользу волку, но не человеку, потому что когда волк – волк, он никому не человек, даже самому себе.

После ужина голосовали: бородач снова буравил его взглядом и настаивал на том, что он волк («Да я умею распознавать волка! Я уже второй раз играю! Наш прошлый волк точно так же себя вел! И тоже для отвода глаз бабуку убивал!»), но они с девушкой мгновенно всех заболтали, указав на тихого, угрюмого мужика с лицом бандита; возможно, он и был бандит, рецидивист, ненадежная личность. Все оставшиеся, в том числе дедушка с фальшивыми бумажными орденами, с бездумной легкостью согласились избавиться от бандита: вероятно, в мирной своей жизни он убивал людей пачками, почему бы ему не заниматься этим и в игре. Тем более девушка вспомнила, что бандит недавно ворчал на бабушку за то, что та неаккуратно ела и наплескала супом ему на белую рубашку (спрашивается еще: зачем белых рубашек с собой набрал? Мол, нет ни намека на то, что запятнается кровяными точечками? Чист, как лист бумаги с ненаписанной историей собственной глупой жизни?). Бандита объявили волком, он неожиданно выступил с убедительной, сильной презентацией, раздав каждому копию собственноручно написанной книги о своей жизни, включающей несколько семей, тяжелое криминальное прошлое (в основном финансовые махинации, никого не убивал), раскаяние, расстояние между ним и Богом, неуклонно сокращавшееся вплоть до шага и жаркого объятия взаимного обретения, храм, ладан, монастырь, псалтырь, вот ему исповедуются тихие старички под укромный лязг стеклянных земляничных колокольчиков. Дядька с кирпичным угрюмым лицом оказался писателем, вот оно что.

Все молчали.

– В некоторых играх в волка бывает священник, – затараторила девушка. – Я слышала об этом. Но иногда волк притворяется священником, чтобы его не убили. Закономерно, что волк заранее подготовился к тому, что его раскусят, и напечатал тираж такой книжки. Кстати, посмотрите, какой тираж – тысяча экземпляров, а? Это зачем? Это он, видимо, к будущим играм тоже готовился? Не собирался же он это продавать в книжных магазинах, сколько там более достойных биографий.

Кирпичный бандит понуро забормотал: стыдно, жалко, грустно, самому неловко, что так на бабушку прикрикнул, но заслужил, предстанет перед Богом как есть, пусть только все его простят сейчас, иначе мучиться потом, мыкаться.

Все закивали: прощаем. Было довольно поздно, всем хотелось спать.

Кирпичного священника увели улыбающиеся медсестры, все разбрелись по комнатам.

В коридоре он нагнал девушку, поинтересовавшись, не его ли она спасала этой жестокой своей убедительной болтливостью, не рассчитывает ли она все же спастись с ним вдвоем в неведомо каком даже качестве и не зайдет ли она к нему в номер, ведь, возможно, завтра кого-то из них убьют, наверное, тоже кто-то из них, отчего нет, поэтому какая разница.

– Нет, я так не могу, – сказала девушка. – Давай просто поцелуемся.

– А я так не могу, – ответил он. – К тому же, если ты волк, ты почувствуешь меня на вкус совсем чуть-чуть и точно убьешь, чтобы дочувствовать остальное.

Он не врал: как-то на игре он поцеловал одну девушку за портьерой, дальше этого у них дело не пошло, и той же ночью он проснулся на терпкий, макрелевый запах лжи, дождя и велосипедного масла – он скользил за ним, будто заколдованная черепаха, до заветной тугой двери, которую взломал легко и весело, как консервную банку, выпив весь сок, весь рыбий жир, воловьих жилы, волосяной шар и жаркий пузырчатый плач, и он весь был чей-то мяч, который всю ночь прыгал и тонул в реке, – тогда он проснулся весь в крови (первый раз за всю игру), в веселом полудетском забытии бормоча фразу «пусть утонет в речке мяч, пусть утонет в речке мяч», пока не подошел к зеркалу и не увидел, что он и есть речка и мяч в нее уже давно весь погрузился и целиком утонул, несмотря на то что он в тысячи тысяч раз больше самой речки.

Нет, повторять это все не хотелось. Он смущенно потоптался рядом, попрощался, ушел спать.

Утром за завтраком объявили, что волки задрали дедушку с орденами. Ордена все оказались настоящие – его подташнивало, горло разрывало будто шипами (все настоящее щиплет, мучит, жжет, разрывает изнутри, лживое же пожирается проще, перемальывается чище), но приходилось жевать яичницу и с видом виноватой заинтересованности наваливать горы ревеневого джема на задиристый смуглый тост: иначе догадаются, поймут.

Да они и так догадаются, подумал он: их уже не очень много. Помимо него с девушкой (бледная, испуганная, ничего не ест, давится кофе без молока: неужели она действительно тоже волк?), остались лишь неприятный бородач, сонная неухоженная тетя-мотя неопределенного возраста в старомодных деревянных очках, очень некрасивый высокий человек в костюме и еще один мужик бандитского вида, вскоре признавшийся в том, что он наркодилер и это его третья игра, поэтому лучше бы всем ему поверить: волков в игре двое, и ими являются девушка и сонная тетя-мотя. Этому выводу предшествовало описание некоего сверхсложного мотивационного алгоритма, из которого совершенно логически вытекало, что именно эти двое – волки.

Судя по тому, что его наверняка и точно тошнило дедушкиными орденами, во всем происходящем не наблюдалось ровно никакой логики. Участвовать в обсуждении у него не было сил, но девушку хотелось отбить, защитить, вытащить. Хотя раньше у него не получалось вытащить ни одну. Как назло, во всякой игре попадалась какая-нибудь красивая девушка, с которой, как он сразу думал, он бы мог связать свою истинную, новую, будущую и настоящую жизнь – несмотря на то, как эта настоящая жизнь бы его мучила, жгла и разрывала изнутри.

Он сказал, что наркодилер определенно прав и все его доводы работают – но только до уровня тети-моти, а насчет девушки он не уверен, поэтому лучше бы убить тетю-мотю. Но вдруг прежде молчаливая тетя встрепенулась и заявила, что она профессор и преподает высшую математику и статистику (попала на игру за взятки) и что из всех логических выкладок наркодилера следует буквально следующее: убив ее, тетю, ситуацию не исправишь (потому что, если наркодилер прав, девушка является вторым волком, и этой же ночью она кого-нибудь убьет, и волки, вероятнее всего, выиграют), поэтому будет намного логичнее убить наркодилера – потому что если волк только один и это он, то они выиграют этой же ночью. Все это

звучало как полная чушь, но девушка подняла руку, и он тоже поднял руку, и тетя-мотя подняла руку. Высокий человек посмотрел на бородача.

– Я не согласен, – сказал бородач. – Но их трое, а нас двое. Они в сговоре.

Бородач предложил голосовать за девушку – к нему присоединились наркодилер и высокий человек.

В воздухе повисла нехорошая гадкая ничья.

– Если вы никого не выберете, то умрет Алефьева, – зазвучало из репродуктора. – Она первая по алфавиту.

– Это я, – смутилась тетя-мотя.

– Ой, все, я не могу, я волк, убейте меня, – сказала девушка и виновато уставилась прямо ему в глаза. – Может быть, на этом игра закончится и вы все пойдете домой, мне уже это все прямо надоело.

Высокий некрасивый человек посмотрел на нее гортанным клокочущим взглядом и пропел журавлем:

– Я переголосовываю! Уберите мою руку, заберите, точнее, ее совсем, мою руку. Она больше не там, я теперь за другого.

Все указывало на то, что избавиться придется от наркодилера. Бородач хмыкнул.

Наркодилер не устраивал никаких презентаций, он пришел на игру совершенно неподготовленным. За ужином он выступил со сбивчивой, похожей на крайне плохой тост (из тех, что произносят самые стеснительные родственники: эй, Петр у нас же журфак заканчивал, давай, Петюн, скажи что-нибудь, ты же у нас журналист, ты же щас скажешь!) речью о том, что он поздравляет всех собравшихся с тем, какие они идиоты и как они раскаются завтрашней же ночью в том, что не поверили в его логические выкладки, но уже ничего не поделать, пусть прольется кровь («Капельница, прольется капельница», – угрюмо сказала тетя-мотя, потирая сосисочными пальцами мягкий свой кружевной живот); все разошлись, стараясь не смотреть друг на друга.

Девушку он видел в коридоре около библиотеки, она сидела на полу и плакала. Увидев его, она замахала руками и отвернулась: уходи, уходи, не хочу ничего!

Он заснул тяжелым, неприятным сном, и ему всю ночь снилось, что он змея, которая пытается проглотить камень, в три раза больший, чем ее собственный диаметр. Камень к тому же был раскаленный, и из него росли крошечные полупрозрачные бескостные ножки, которыми камень беспомощно перебирал, чтобы куда-нибудь убежать, хотя убежать ему было незачем, на него все равно не натягивался его пересохший, растрескавшийся морщинистый рот. В какой-то момент ему удалось раздуться и лопнуть, и это немислимым образом раскололо камень на душную крошку, которую было не так уж и трудно собрать, слизать языком, задыхаясь от восторга, а потом обвалиться в кашеце из крошки и слюны целиком, перевернувшись на спину и болтая полнокостными, тугими лапами в звенящем ночном воздухе: ах, вышло, удача! заглотил! победил! сошлось!

Утром, когда спускался в столовую, в груди гремело, будто вынули сердце и обменяли на кулек раскаленных камней.

Девушка была на месте, бледная, испуганная. Господи, неужели. Не ее, не ее.

Рядом сидела тетя-мотя – заулыбалась, помахала рукой.

– Иди-иди, садись. Видишь, поэта нашего забрали. Он же поэт был, Аркашенька наш. Вы с ним и не общались, не слушали его, а он читал мне из тетрадки своей по вечерам: талантливый, не то что студенты мои были, тупые все, как камни. Камни. Кто же его убил? Как же нам теперь быть? Вы, дети, волки? Вы сговорились?

(Он обнаружил, что держит девушку за руку, – отдернул, как будто за змею случайно ухватился: выдал, предал, показал внутреннему волку сладкий пунктир и ориентир своей страсти.)

В зал спустился неприятный бородач и захохотал:

– Я же говорил! Говорил! Всё теперь! Всё! Я же говорил, что он волк! Будет за него кто-нибудь голосовать?

Тетя-мотя подняла руку и сказала, что будет, но это бессмысленно, потому что все равно эти двое явно сговорились и будут вдвоем голосовать против любого из них и получается два на два, и, следовательно, она в любом случае умрет следующей, потому что она первая по алфавиту.

– Ужасно, – сказала девушка. – Я так не могу. Ну правда, выберите меня. Я точно уверена, что это я убиваю людей. Я не хочу так делать всю жизнь. Может, другие как-то так и живут, но я так не хочу, вот правда.

– За что ты вообще сюда попала? – спросила тетя-мотя.

Выяснилось, что девушка продала полицейскому полтора грамма марихуаны. Ей дали только одну игру.

– И в ходе этой единственной игры я оказываюсь убийцей, нормально. Лучше бы мне было сразу наброситься на того полицейского и перегрызть ему глотку, – сказала она. – Давайте уже выберем меня и закончим на этом.

– Я не буду голосовать, – ответил он. – Я вообще руководствуюсь исключительно личными симпатиями, потому что разобраться в том, кто говорит правду, невозможно, все врут, даже, наверное, я, даже, наверное, сам себе.

– А я все равно умру, – весело сказала тетя-мотя, – потому что я первая по алфавиту. Давайте убьем бородачатого, и у нас тогда еще один день будет. Потусуемся, вина выпьем. Я книгу хоть дочитаю, а то непонятно, чем там все закончится.

Бородач хмыкнул, поднял свою кофейную чашку и расколотил ее о стол. На всех и на всем повисли солоноватые коричневые капли, будто грязный дождь.

– Счастливо оставаться, – сообщил он. – Мне теперь до вечера вот так ходить и знать, что я утром не проснусь.

– Мы можем прямо сейчас поставить вам капельницу, – сказал громкоговоритель, – если все за и никто не против.

– Да, пожалуйста, сейчас, – нервно сказал бородач. – Спасибо. А вы (это он сообщил оставшимся троем) идите все на хуй и в пизду. До свидания.

Бородача увели, они остались втроем.

– Волк в этой игре был только один, – объявил громкоговоритель. – Поэтому в итоге получилась ничья, но, поскольку остаться должно два человека, игра продолжается до завтрашнего утра.

Был полдень, было еще предостаточно времени. Девушка сидела на краю бассейна и рыдала, тетя-мотя, довольная, сидела в столовой и спешно дочитывала какую-то свою книжку (кажется, ее и правда больше ничего не беспокоило, все равно умирать). Он подошел к девушке, сел рядом, обнял ее.

– Даже если ты волк, все хорошо, – сказал он. – Я тебя не брошу. Я тебя тут нашел, и я тебя уже не оставляю. Давай ты ночью убьешь тетю, а утром мы пойдем домой. Вместе пойдем домой. Ко мне домой пойдем вместе. Или к тебе?

– Я не хочу убивать тетю! – заплакала девушка. – И тебя убивать не хочу! Может быть, я тебя тоже тут нашла, откуда ты знаешь!

Он снова захотел признаться ей, что волк именно он, но изо всех сил переубедил себя (отвлекался, маялся, неловко хватал ее за пальцы, смотрел на небо и птиц, бормотал вязкое «тише же, тише» и «ну хорошая же моя такая, что же ты, что же»). Вероятно, его искушала та же самая смертоносная и разрушительная эмоция, из-за которой Орфей в самый неподходящий в своей биографии момент обернулся. Вряд ли эту эмоцию, связанную с фатальной невозможностью вытащить нужного тебе человека оттуда, откуда невозможно вытащить нуж-

ного тебе человека, было бы справедливо называть «жалостью» либо «сочувствием», ей необходимо было отдельное, новое, гораздо более безжалостное и точное наименование; и тоска по отсутствию данного понятия в его личном и общечеловеческом коллективном словаре внезапно стала основополагающим, всепоглощающим чувством, захватившим его с головой. Не исключено, что это было первое истинное, настоящее, никак не связанное с ложью чувство, испытанное им в ходе данной игры. Которая все-таки оказалась довольно азартной.

Девушка закрылась в комнате и отказалась с ним общаться, тетя-мотя с веселым фатализмом готовилась к своему исчезновению, открывала вторую бутылку вина и общаться тоже не хотела, поэтому он решил не ложиться спать вообще, ушел ночью в сад, привалился к какому-то дереву.

Обнаружил себя утром в том же саду, в канаве около розовых кустов – исцарапанным, обслюнявленным, грязным, словно его отхлестали мокрыми жеваными розами по всему телу в наказание за что-то. Все тело болело. Руки были покрыты царапинами и кровоподтеками.

Вошел в зал, там никого не было. Столы были накрыты белыми скатертями, пахло кофе и круассанами.

– Поздравляем, – сообщил громкоговоритель, – в этой игре ничья: остался один человек и один волк. Можете идти домой. Только вначале вы должны зайти в медпункт на втором этаже.

– А где второй, второй? – заволновался он. – Кто еще остался?

– Зайдите в медпункт, – угрожающе сказал громкоговоритель.

– Где человек, который остался? – спросил он.

– Это вы, – ответил громкоговоритель. – Поэтому вам и надо зайти в медпункт. Волку было плохо ночью, он не очень точно выбрал, не до конца, это вы виноваты, потому что не закрылись в комнате. Обычно волк выламывает только одну дверь, больше у него нет сил обычно, а тут он выломал, сделал что положено, а потом почувал вас в саду, и помчался к вам, и немного вас пожевал, но остановился, потому что был уже сыт. Или не был сыт и просто остановился. Мы не знаем, это за пределами игры уже было, если подумать. Мы отпустили волка домой, он просил передать вам привет. А вас оставили досыпать в саду, если уж вам так хотелось закончить игру сном в саду.

– Больше ничего не передавал? Только привет? – спросил он, с ужасом вспоминая, что ему вроде бы снился колючий, кровавый запах кустарника и разжеванных ежом мокрых улиток и в этом сне он сам был еж и глотал, неудержимо глотал тягучую, как резина, улитку снова и снова, – но неужели, неужели нет.

– Нет, больше ничего не передавал, – сообщил громкоговоритель. – Но вы покусаны и на вас слюна. Поэтому, если вы не хотите заболеть бешенством или тоже стать волком, зайдите в медпункт, вам необходимо срочно ввести вакцину. Это не обязательно, потому что игра уже закончилась, но это настоятельная рекомендация. Потому что, если вы станете волком, раз в год придется играть.

Не только привет, понял он.

Или все-таки только привет.

Но, кажется, когда-то давно он уже делал этот выбор между приветом и чем-то гораздо большим, чем просто привет.

Тибетская книга полумертвых

Жизнь у меня теперь происходит в три смены, как и работа. Каждая смена – два дня. Понедельник и вторник я работаю в Орше в конце девяностых. Мне 17, я собираюсь поступать на журфак. Я работаю в коммерческом магазине маминых друзей в полуподвальчике на улице Кирова: упаковываю игрушки и сладости в полиэтиленовые пакеты, давлю на чугунную синюю клавишу кассового аппарата с шарманочной весенней рукоятью, отсчитываю поштучно сигареты подросткам. Мне платят 10 долларов в неделю.

Среду и четверг я работаю в Москве середины двухтысячных редактором мужского журнала «Эллипс». Про нас с Сашей шутят, что у мужского журнала два редактора и обе женщины. Саша – самая прекрасная женщина в мире, и мы с ней все время ругаемся из-за разных подходов к редактуре: она самостоятельно переписывает все материалы, а я отправляю автору на доработку. Мне платят полторы тысячи долларов в месяц, тысяча уходит на оплату однушки в двенадцати минутах пешком от станции «Аэропорт», и все эти двенадцать минут идешь будто и правда через длинный бесконечный пустой аэродром: поля, стадионы, грязные взлетные полосы, усыпанные рыхлым снегом.

Пятницу и субботу я работаю в Нью-Йорке две тысячи десятых продавцом косметики из Бразилии – в смысле, не я из Бразилии, я из Орши (хотя я никогда не озвучиваю это в ответ на традиционный дружелюбный и ранящий меня вопрос, откуда я с таким смешным, умили-тельным акцентом), а косметика якобы из Бразилии. Каждое утро я прикрепляю к маленькой стойке снаружи магазина манговый крем для рук с рожком-диффузором, и уже к полудню прохожие выдавливают его без остатка и без совести. Часто крем и вовсе сразу крадут, но я не должна из-за этого переживать, я наемный работник. На обед я хожу в мексиканский ларек «Кафе Хабана» через дорогу; крошечная пухлая пуэрториканка Лилианна спрашивает у меня: «Как обычно, куриная кесадия с бобами и рисом?», и я, сглатывая скатавшуюся, сухую слюну – словно банановой корки нажевалась, – киваю. Я ненавижу есть одно и то же, но, чтобы не обидеть Лилианну, повторяю: «Да, мне как обычно»; дернул же меня черт когда-то два дня подряд заказывать кесадийю. После работы я могу зайти в бар выпить с подружкой. Мне платят 15 долларов в час.

Выходные же я провожу в Будапеште. Точнее, выходной; он у меня только один, но мне хватает. Мне не нужно работать. Я останавливаюсь в гостинице, чаще незнакомой (и это странно). В Будапеште я потому, что приехала туда в надежде встретиться с Михаилом, точнее, случайно встретить его на одной из улиц – около Оперы, около легендарной надписи – «Катя, я люблю тебя. Петя» под Цепным мостом, около центра современного искусства в том странном еврейском кварталчике, на безлюдном ночном острове Маргарет с поющей чужие гимны траурной беседкой, в которой я однажды вздумала провести душную летнюю ночь, пока не загремел помпезно гимн и я не запуталась в спальнике, как ночная мохнатая бабочка в коконе: не выбраться, не улететь. Я всегда и обязательно встречаю Михаила, и всегда случайно, где бы я его ни встретила. Вначале он злится, что я его нашла. Говорит, что я его выслеживала, преследовала, что я сумасшедшая, одержимая, ненормальная. Потом он говорит, что все же скучал по мне, и я немного расслабляюсь, а ведь всю рабочую неделю я ужасно напряжена. Мы идем ужинать в суши-ресторан, потом катаемся на трамвае по горкам Буды, потом отправляемся ко мне в гостиницу и там занимаемся любовью, потом засыпаем, потом я просыпаюсь и мне пора на работу: понедельник, выходной кончился, впереди трудовая рабочая неделка.

Это длится достаточно давно, но мне трудно понять, как именно долго: я не могу считать недели, и мне ничего нельзя взять с собой. Даже если я буду записывать недели в блокнот, я потом не найду этот блокнот – как-то пыталась записывать недели в Орше в школьной тетрадке по химии, серой, с прожженными соляной кислотой клеточными листочками, но

на следующий день обнаружила, что тетрадь пустая, поэтому записывать перестала – какой смысл, если следующий день будет таким же, с такими же изначальными условиями: пустая тетрадь, неприятные шуточки вокзальных дядек, мрачный ужин с родителями, не чавкай, шиплю я отцу, встала и вышла из-за стола, нашлось тут говно меня учить, кто ты такая, со мной так разговаривать, встала и вышла, говорю. Встаю, выхожу. Когда я жила в Орше с родителями на самом деле (в том, что, вероятно, и было моей жизнью), после таких ситуаций я все записывала в дневник, который прятала среди басовых струн фортепиано, осторожно отогнув деревянный засов и отодвинув массивную лаковую и гулкую нижнюю крышку. Теперь нет никакого смысла – я знаю, что следующим утром проснусь в мире, где не было вчерашнего дня. Я быстро, если не мгновенно, поняла, что двухдневная смена состоит из двух не связанных друг с другом дней. И все эти дни как бы в случайном порядке: может быть, я так и живу на самом деле свою жизнь, в случайном порядке. Или все люди всегда так живут, в случайном порядке, а времени нет.

Поскольку ничего не получается записать, я пыталась все запомнить, но мне и так приходится слишком многое помнить, чтобы выживать на такого плана изнурительной работе. Три смены не шутка, особенно смены решительно всего.

Я не очень хорошо понимаю, что происходит. Возможно, это ад. В пользу ада говорит сразу несколько факторов: я отлично (даже слишком!) помню свою прошлую жизнь (якобы обычную, человеческую жизнь, где рабочие и нерабочие дни проходили не кластерно, а хронологически и все записанное или сделанное влияло на последующие дни, то есть линейное время, линейное), а в аду, насколько я понимаю, все так или иначе завязано на памяти и ее колючей обостренности. Вся боль ада этого мира – она от памяти, нет памяти – это уже рай, а когда памяти так невыносимо много, а жизнь уже не происходит и время остановилось, то это, несомненно, ад.

Потом я поняла, что это все-таки не ад – в пользу отсутствия ада говорило полнейшее мое одиночество (я быстро осознала, что близкого контакта с людьми, окружающими меня в мое рабочее время, установить не выходит). Некоторое время я думала, что происходящее, вероятно, кома или синдром запертого человека. Или что-то вроде эзотерического лимба – может быть, мне нужно выбрать одну из этих трех жизней, и остаться там, и прожить жизнь заново еще раз именно из этой точки? Но у меня нет возможности выбрать, потому что все эти три рабочих периода – самые рутинные, скучные периоды моей жизни. Выбирать можно там, где есть некое обещание счастья, где получается перепрыгнуть в лучшую версию себя; тут же даны наиболее унылые версии. К счастью, в Будапеште все иначе: я тревожно шатаюсь по весенним талым улицам, мочу ноги в неприлично растекшемся Дунае, подтапливающим трамваи так лихо и задиристо, будто бы у нас тут всюду Сан-Марко с голубями, а не постимперская псевдо-Восточная Европа, сжимаю кулаками виски от нахлынувших неоновых волн мигренового приступа, покрываюсь змеиным чешуйчатым потом – встречу я Михаила или нет? Всегда есть вероятность его не встретить – и все равно я его встречаю, встречаю, встречаю. В этом есть какая-то справедливость (поэтому, возможно, все-таки ад).

Потом я поняла, что рабочие недели составлены исключительно из моих личных воспоминаний, ничего объективного в этом нет (поэтому, возможно, все-таки не ад). Родители, друзья, сотрудники и собутыльники, с которыми я имею дело до и после работы в рамках этих тягостных рутинных дней, не делают ничего из того, что бы я о них не помнила – ясно ли, смутно ли. Помимо этого, все остальное – то, что не задержалось в памяти, – выглядит каким-то тусклым.

Чтобы проверить теорию тусклости, как-то после работы я специально решила поехать куда-то, где никогда не была раньше (я решила сделать это в Нью-Йорке, потому что в Орше девяностых поехать куда-то, где никогда не был раньше, – это, извините, лучше просто пойти в ванную и повеситься, оно хоть будет быстро и почти не больно), но незнакомые места выгля-

дели как проблемы со зрением: пелена, туман, пробелы, зарядил дождь, посыпал мелкий зернистый, как пленка, снег, зашуршали снегоуборочные машины, похожие на древних кожистых, как дирижабль, животных; из серой тьмы зовуще выглянул успокаивающий зеленый фонарик метро: заходи, езжай домой, цепеней. Если я пыталась намеренно избежать фонарика метро и углублялась дальше в неизвестность (допустим, Южный Бронкс), происходило и вовсе жуткое: туман мог рассеяться и я вдруг обнаруживала, что знаю все об этих местах и бывала там раньше; видимо, в момент решения отправиться в неизведанные места моя память злонамеренно заретушировала, задрапировала Южный Бронкс и убедила меня, что я там никогда не была: давай езжай. Но нет, мы тут с подружкой Юлей пили местное пиво, а вот здесь пытались запарковаться на брусчатке, она как будто даже устраивала мне экскурсию специально по Южному Бронксу. Всякий раз, когда я хочу поехать в незнакомое место, я выбираю что-то такое, где потом понимаю: черт, я же здесь уже была! Поскольку «память как вид умственной деятельности редко бывает верна, как собака», это, может быть, все-таки ад.

Пару раз я решала не идти на работу, вместо этого взяв на вокзале билет в какое-нибудь новое место – главное, чтобы туда можно было добраться до вечера. Не срабатывало: вот в Смоленске я с удивлением вспоминаю, что мы с Артемом и Сашей когда-то ездили в Смоленск просто потусоваться – почему-то забыла об этом напрочь. Вот в Вашингтоне я смотрю на цветущие магнолии и вдруг понимаю: я же ездила сюда с Дашей на концерт! Ничего не получалось, доверять памяти нельзя. К тому же, если это все-таки ад, тем более лучше не доверять.

Потом я заметила, что, несмотря на то что память работает, как ей вздумается, воображение не включается и ничего не дорисовывает. Обычно окружающий нас мир – это смесь восприятия, памяти и воображения, где на долю восприятия приходится от силы десять процентов. Там, где я теперь работаю в три смены, восприятия и воображения нет – сознание функционирует исключительно в поле памяти. Следовательно, это все-таки не жизнь. В жизни воображение всегда, в любой ситуации приходит на помощь памяти.

Чтобы окончательно убедиться в том, что происходящее – не объективный мир, я пыталась говорить с окружающими меня людьми о том, что я по этому поводу думаю. Но выяснилось, что, если начинаешь это делать, все ломается. Потом приходится проводить остаток дня в сломанном мире. В сломанном мире все очень страшно. Я не буду это описывать, потому что у меня осталось не очень много времени (я потом объясню). Придется просто поверить мне на слово.

Я пыталась говорить об этом с родителями в Орше: смотри, сказала я маме, я из будущего, я оказалась тут откуда-то из своих предположительных тридцати трех, хочешь, я расскажу тебе, что будет дальше? Я действительно подумала, что вдруг я и правда заново проживаю уже прожитые дни, что мне зачем-то нужно прожить жизнь еще раз, но посменно, вперемешку; возможно, это даже и есть настоящее, подлинное течение времени, в котором я обязана снова пройти жизненный квест, чтобы его постфактум верифицировать, – на это намекала рандомная смена времен года, как будто я проживаю наугад выхваченные из прошлого рутинные дни: понедельничный шалый апрель со сверхскоростными чернильными тучами, вторничный губительный октябрь, обманчиво-медовый и безветренный, как смерть, ни в чем нет стабильности, все начинается заново, и ни в чем на самом деле нет изначальности.

Мама взяла белую чашку с кофе, на которой было крупным черным шрифтом написано «Я люблю чай» через сердечко вместо «люблю», и задумчиво вылила содержимое прямо на пол; прибежала наша собака и легла в получившуюся деготную лужу, и я тут же подумала: мир ломается, мама никогда не пьет черный кофе без молока. Потом уже мыши прибежали и тоже начали валяться в луже, как пятикопеечные свиньи.

– Вот, – сказала мама, – вот тебе будущее, смотри. Черная лужа твое будущее. В ней все растворяется.

И правда, в луже вначале растворилась собака, потом мыши, потом пол и паркет, потом лужа постепенно поглотила кухню, потом маму, потом весь дом, к вечеру она растянулась где-то на треть города, я сидела на не охваченном еще лужей заболоченном пляже около речки, благо этот судьбоносный разговор выпал на относительно теплый август, и пыталась уже из научного интереса разговаривать прохожих, и, как только я объявляла кому-то из них, что знаю будущее, мир ломался еще сильнее: вот упала птица, вот упала еще одна, вот упало с мясным шлепком что-то очень большое и живое, но определенно не птица, пусть и с птичьей высоты, вот по реке прокатилось карманное кровавое цунами, вот асфальтовая дорога вдруг изогнулась и пошла-пошла змейкой вверх в небеса, будто ее кто-то стамеской подковырнул.

Да, у меня было подозрение, что на самом деле мир не ломается, а остается прежним, а ломаюсь именно я и мое восприятие. Это одна из моих трактовок происходящего – что у меня расстройство вроде тяжелой формы аутизма: нарушенное восприятие времени (я проживаю жизнь не линейно, а рывками), а также лживая память о будущем. Есть вероятность, что аутизм – это объективно опасное для человечества психическое состояние, при котором индивид действительно живет нелинейно и имеет некоторую информацию о будущем, но поскольку человечество резонно ограждать от такой информации, индивиду дается картина ломающегося мира, как только он пытается поделиться наблюдениями с общественностью.

Я тут же вспомнила, как давным-давно, когда я была маленькой и путешествовала с родителями по Крыму, на набережной в Алуште к нам подошел сумасшедший дядечка, отягощенный некими сведениями о будущем, и попытался нам их сообщить, но буквально на первом предложении у него поломался мир – это было заметно, – мы с мамой побежали искать милицию или вызывать скорую, а папа остался с этим человеком и следил, чтобы он не расколотил голову о набережную. Но он расколотил.

В Будапеште, как мне казалось, сломанного мира быть не может – Будапешт был настоящим выходным, в нем я действительно счастлива. Будапешт разбивал все мои догадки, все объяснения. Скорей всего, ключи к происходящему находились именно в Будапеште. Я пыталась объяснить ситуацию Михаилу – потому что Михаил, как я быстро поняла, существовал объективно, по-настоящему. Но все вокруг тоже ломалось – кроме Михаила. Так я постепенно осознала, что он объективен. Если я вдруг, выходя из душа, становилась серьезной и объявляла: «Михаил, мне нужно поговорить с тобой. Расскажи мне, пожалуйста, как мы общались до того, как ты меня здесь случайно встретил, – если мы общались. Что ты обо мне знаешь? Как ты вообще живешь – это у тебя обычная жизнь? Не что-нибудь повторяющееся, похожее на лимб, или ад, или этот глупый фильм с Биллом Мюрреем, где вообще все не так, как на самом деле?» – и все это было чересчур длинно, дремотно и не похоже на правду так же, как бледный мост Эржебет не был похож на гремуче-ржавые Золотые Ворота Сан-Франциско – почему мой выходной проходит не в Сан-Франциско, где я однажды встретила саму себя прямо под мостом? Почему именно встреча с Михаилом? Мне стыдно, стыдно, стыдно.

У меня бездна времени думать о стыде, потому что еще на фразе «Что ты обо мне знаешь?» мир начинал ломаться так, что общаться с Михаилом, пусть он и не ломался, было невозможно: у меня заплеталась речь, лимб и ад превращались в «Лолиту» и «Аду» («К тебе тоже в сон приходил Набоков читать свои лекции?» – успевал пошутить Михаил ледяным безразличным голосом: как же ты можешь поломаться, мой дорогой, если ты похож на механизм больше, чем всякая идея механизма, и этим как бы побеждаешь механистичность и ее изначальную врожденную пагубную склонность к поломке, сколу, расслоению?), Мюррей становился Девой Марией, тут же угрюмо принимавшейся кормить меня грудью (отчего я совсем уж мямлила, давилась, ни слова не выходило сквозь это брезжущее, брызжущее, молочное), отель переставал быть строением или подобием укрытия – он состоял из сложенных хвойными головками туда-сюда сосновых, крупно нарубленных лестниц, ведущих в неуютность и трепещущие ледяные паруса, руки мои продолжались занозчатым шершавым столом и текли по его

поверхности лакирующими слезами, из сердца моего выходил мокрый бескостный кот, неторопливо взимался к потолку, и из него шла стрекочущая, как пиш-машинка, гроза – били небольшие бронзовые молнии в паркет, прожигая дыры, и кот гремел, как реактивный самолет.

Михаил, судя по всему, что-то мне отвечал, но было сложно услышать сквозь это все, воздух тоже дробился на пирамидки и пыль, слух мой был кот и гроза, и я хрипло шептала: прости, прости, я не буду больше, пусть все станет как раньше было, верни как было.

Иногда Михаил возвращал как было. «Ну что, больше не будешь ерунду спрашивать?» – говорил он и трепал мне затылок, и я пицала: «Больно!» – удовлетворенно отмечая, что язык снова работает, кот снова стал слух, но вот больно-то мне и правда больно, ох.

Так я поняла, что это не лимб, потому что в лимбе человек, как правило, один и в лимбе, как правило, есть доступ к воображению и крайне ограничен доступ к памяти. Также в лимбе не больно. Я не знаю, откуда я это знаю, но в лимбе действительно не больно. Возможно, до этого всего я была в лимбе, но ничего не запомнила, потому что все происходящее со мной там придумала (воображение есть, памяти нет).

Несмотря на то что памяти у меня предостаточно, момента перехода на недельную систему я не помню. Как будто недельная система была всегда и вся цельная память о предыдущей, линейной жизни тоже была всегда. Обе эти системы не пересекались. Точки, в которой прервалась линейная жизнь и началась посменная, не существовало, ее не могло быть, потому что линейная жизнь продолжалась сама по себе (просто у меня не было к ней доступа), а посменная продолжалась за счет существования линейной.

В целом можно было бы, наверное, приспособиться. Я ходила ужинать в разные кафе в Москве и Нью-Йорке (какой чудовищный был московский общепит тех дней! неужели мы не догадывались? как нам это могло нравиться?), пару раз встречалась со старыми друзьями, которых не видела годами. Быстро становилось скучно, все было тускло, одинаково, словно не со мной; к тому же я иногда срывалась и начинала рассказывать друзьям о том, в какую дурацкую схему я попала, и тут же все вокруг ломалось.

В Нью-Йорке у меня мало наличных обычно, хотя по субботам больше, чем по пятницам. Приходится выбирать дешевые бары. Пару раз пыталась одалживать деньги, но, что характерно, друзья отнекивались, отказывались, некоторые даже пугались, как будто я им с того света звоню (известно, что покойникам нельзя одалживать деньги, и дело даже не в том, что они их не вернут – как раз таки вернут, но не совсем деньги, поэтому и не стоит связываться). Видимо, важно, чтобы в каждый из этих дней у меня было ровно столько денег, сколько я зарабатываю в этот день, – так что некая логика в происходящем таки есть (и я снова начинаю надеяться, что это объективная история про справедливость или тибетская брошюра полумертвых, зависших в лимбе, попавших неведомо куда). А вот в Москве денег у меня просто горы – но это Москва середины нулевых, не забываем. Я трачу деньги на книги, но не успеваю прочитать ни одну – после работы я ужасно устаю. Лежу на диване, листаю наконец-то переизданную Елену Гуро. Тоненькая коричневая книжица, «Небесные верблюжата», такая нежная, такая странная, неужели я не дочитаю – не дочитываю, засыпаю. Утром четверга Елены Гуро на моей книжной полке нет, там все тот же сто раз читанный набор, что и всегда. Я снова иду в «Фаланстер», но там Елены Гуро не обнаруживаю: кажется, она еще не переиздана. Видимо, это день из каких-то совсем ранних двухтысячных. В Орше у меня денег вообще нет, я прихожу домой утомленная бытием, как старуха, перед сном листаю учебники (чтобы родители видели, что я листаю учебники, и не цеплялись), совсем забросила ведение дневника (впрочем, иногда читаю уже существующий – тем не менее в нем ничего нового, это точная копия моего школьного дневника, просто последняя дата всякий раз разная), перечитываю любимые книги юности: книжная коллекция у родителей просто огромная.

Я все время жду, что случится что-нибудь невероятное – например, телефонный звонок, – и мне наконец-то объяснят, в чем дело. Но ничего такого не происходит.

Я записываю это в один из своих выходных в Будапеште и должна успеть более-менее связно, лучше даже сюжетно, записать все целиком в течение дня. У меня есть ровно день.

Дело в том, что Будапешт идет вразрез с остальными днями (или просто в аду все выходные такие). Обычные, рабочие дни ничем не отличаются от тех, что были на самом деле, возможно даже, это и есть полные копии реально состоявшихся дней, просто расставленных в скорострельном, самопальном, наугадном порядке. Да, о каждом из этих дней у меня тоже сохраняется память, и я без труда отличу память о работе в редакции журнала «Эллипс» в моей линейной, объективной жизни от памяти о ней же в жизни нынешней, посменной. Ничего не смешивается, но каждый день обнуляется – времени нет, оно одно и то же. Журналисты всегда приносят что-то разное, но я как-то разбираюсь, нас же два редактора, плюс я почти все эти тексты тут же вспоминаю – это я уже редактировала, это Саша уже переписывала, я даже знаю, что сделать, чтобы мы с ней не поссорились из-за лида к этому интервью, но вокруг такая чертовская скука, что лучше поссориться, какие-никакие эмоции, к тому же мы потом помиримся и пойдем в бар пить. Я редко, впрочем, беру больше трех коктейлей «Манхэттен» (а других в Москве тех времен как будто и не делают), потому что иначе я начинаю снова пробовать рассказать Саше вообще все или даже пересказать ей последний выходной в Будапеште, и тут же – ну, сами понимаете. Снова все поломалось, и я еду голая домой в последнем трамвае, а у него даже нет водителя. Лучше бы это был троллейбус в Сан-Франциско двадцатых, я уверена, что в двадцатых там будут самоуправляющиеся троллейбусы Илона Маска. И я даже могу дожить до этих времен, и поучаствовать в них, и даже кататься в троллейбусах голой, если захочу, только вот нужно найти выход из сложившейся ситуации (если это ситуация, если ад может быть ситуацией).

А вот в Будапеште все иначе. Все там происходящее никогда не происходило со мной в объективной жизни. Я действительно ездила туда два раза на выходные после того, как Михаил уехал. Мы плохо расхордились; было понятно, что он не откажется от новой работы; было точно так же понятно, что в его планы не входит брать меня с собой – да и что я там делала бы? Я предложила пожениться, тогда я могла бы поехать с ним как жена, но Михаил захохотал: жена, гремел его бархатный бас (хотя это был не бас, просто я так спешу, что речь становится машинариумом, мешаниной), нашлась тут жена, клоп в желтой шапочке, и смотрите-ка, тоже из этих, ну какое жена, ты еще не встретила того самого человека, подожди еще, встретишь, это о-го-го какая встреча будет, ты еще мне спасибо скажешь. Я плакала, звонила ему по ночам и угрожала суицидом, но не в смысле ой-пойду-повешусь, как только твой самолет втянет шасси и мое надорванное сердце, запутавшееся в колесе, а завуалированно, мол, никогда не знаешь, где печаль твоя светла, где перекасти-поле пустой высушенной головой мчит сквозь песочные замки, где проживешь три года, пока все твои самые главные люди спустятся в черную яму, заполненную талой водой, чтобы совершить свой последний вдох.

«Главных людей не бывает, – сказал как-то Михаил. – Ты такая умная, хорошая девочка, а главные люди – ну что такое главные люди? Путин – главные люди? Сталин – главные люди? Они и без нас в водяную яму спустятся, эти главные люди, для них уже давно эти ямы приготовлены, а ты живи и танцуй, у тебя три смены впереди» (нет, разве он это сказал? разве он это сказал? разве он это сказал?). Как-то приехала и топором ломала дверь, потому что он уже замки сменил, я его тогда преследовала немного. Именно тогда он меня ударил, но это не считается за эпизод рукоприкладства, потому что вот я, стою, с топором в руке, и не могу его поднять, потому что дверь открылась сама, без моего вмешательства, – и, пока он замахи-вался, я прожила целую отдельную жизнь, связанную исключительно с невозможностью взмахнуть топором и обстоятельным анализом этой невозможности (магистратура, PhD по сравнительному литературоведению, специализация исключительно на убийствах топором в мировой литературе, вела курсы в Бостонском университете, Принстоне и Йеле, написала три монографии), а потом эта жизнь закончилась глухим костным шлепком, и я очень спокойно, очень

вслух сказала: «Все нормально, ты просто оборонялся, это не считается», хотя жизнь все равно закончилась. Это нормально, что он мне не писал совсем, не отвечал, забанил меня везде, и даже общие друзья молчали, не признавались, как будто и не было Михаила никогда.

И когда я приезжала в Будапешт, я так и представляла, как столкнусь с ним на ночной пустынной улочке около собора Святого Иштвана и в ответ на его вскинутые, как руки вверх, брови выстрелю безразличным: «А помнишь, как ты говорил, что я обязательно встречу того самого человека?»

Но так и не встретила. Эти поездки в Будапешт были самыми идиотскими и бессмысленными выходными в моей жизни – имеется в виду та жизнь, которая линейная, объективная. Зато в нынешней, посменной жизни выходные у меня полны волшебства! Где я только не встречала Михаила! Оказывается, за все эти бесплотные дни я так основательно исходила город, что наши случайные встречи никогда не повторялись географически, – моя память выводила наружу всё новые и новые нити, пути, перекрестки, и даже пустой январский Обудайский остров, уставленный уставшими концертными площадками, превратившимися в заснеженные поля для будущего весеннего гольфа, непременно дрожал, туманился и выпускал из клубящихся дунайских вод знакомую фигуру в черном плаще, и вот я уже набираю в рот (воздуха? черной прибрежной воды?), чтобы сказать: «Смотри-ка, какого человека я встретила!» (и уже знаю, что сейчас помчим в гостиницу).

Сегодня я решила изменить течение выходного и не разыскивать Михаила в Будапеште, а вместо этого сесть и записать это все. Лэптопа у меня нет, я оба раза приезжала, к сожалению, без лэптопа, но в холле гостиницы есть интернет-точка, несколько компьютеров, подключенных к сети (такое действительно в те годы существовало, наверное, это был то ли 2008-й, то ли 2009-й). Записывать происходящее в виде текста можно – от этого мир не ломается (видимо, дело в том, что текст все равно обнуляется с приходом следующего рабочего дня). Мне кажется, что, если я успею дописать все целиком и отправить, скажем, на свой же собственный email-адрес, что-то может сработать либо поменяться.

Уже в три часа дня мне позвонил Михаил, хотя телефон мой был в выключенном роуминге, а номер мой он наверняка удалил и забанил.

– Я знаю, что ты в Будапеште, – сказал он ледяным, как тогда, голосом. – Мне сказали общие знакомые, что ты приперлась. Чего ты от меня хочешь?

– Ничего, – сказала я. – Они ошиблись. Ты меня не увидишь, честное слово.

И положила трубку – у меня не очень много времени; я должна записать сразу всё, и на это есть ровно день.

Михаил звонил еще 20 раз – я нашла 20 неотвеченных вызовов от него, пока писала все расположенное выше. Еще мне от него пришло четыре смс-сообщения.

«Хорошо, мы можем встретиться, если ты так хочешь. Где ты остановилась? Я могу приехать».

«В каком ты отеле? Мне срочно надо тебя видеть».

«Ты снова думаешь, что ты самая умная? Я знаю, где ты».

«Я тебя найду, сука».

Оказалось, что Михаил не очень-то хочет, чтобы я все записывала.

Тут же пришло еще три сообщения:

«грязи, выход триста семьдесят, вытесать, нож взял уже, мы у нас на корабле концерт танцевали, вытекли грязи уже, вытекли ножи, концерты вытекли и корп»

«поперек Дуная налево»

«это навигация»

Оказалось, что, когда я все записываю, ломается не мир, а Михаил.

Я вышла во внутренний дворик-колодец, закурила. День почти заканчивался, а мне нужно успеть. Михаил тут же немного починился и написал мне: «Я тебя найду. Не спрячешься от меня».

Я ответила: «Давай встретимся через час на мосту Петефи, ровно посередине».

«Ты врешь», – ответил Михаил.

«Мне нужно доделать одну штуку по работе», – написала я.

«Ты снова врешь. У тебя выходной», – ответил Михаил.

Я не могу ответить ему правду, потому что, если я это сделаю, все будет ломаться, мир будет ломаться и текст тоже будет ломаться. Я бегу в холл и смотрю на свой текст – он действительно уже немножко ломаный, но в целом разобрать можно, наверное, дело в том, что написан он поспешно и судорожно.

«Я уже выяснил, где ты, – пишет Михаил, и его сообщения высвечиваются на экране, как свежие ожоги. – Ты в полном порядке. Ближайшие минут тридцать, пока я до тебя не доеду. Я уже выехал».

Я могла бы убежать, но мне нужно дописать этот текст, и, если я успею это сделать до того, как он приедет, возможно, у меня получится как-то избежать того, чего в моей ситуации избежать нельзя: встречи, встречи, встречи.

Я не очень понимаю, в какой из жизней я получу письмо с этим текстом (если это история про разные жизни, в чем я не уверена) и как это письмо мне поможет, но уверена, что поможет. Впрочем, я не уверена, что поможет лично мне прямо сейчас, в этой ситуации, когда Михаил-на-колесиках уже знает мою улицу и номер дома и прямо ко мне в квартиру едет.

Wi-Fi работает, я без труда вхожу в свой ящик (память по выходным работает так идеально, что я помню все свои пароли десятилетней давности), вижу там несколько входящих сообщений от Михаила. Все они без темы, поэтому их содержание как бы наползает на тему и вздувается пузырями поверх уже готовых, свеженапечатанных ожогов.

«Не делай этого, иначе ты больше никогда в жизни меня не увидишь. Тебе этого хочется? Тебе действительно этого хочется?»

«Ты сама этого хотела, и теперь ты готова от этого отказаться?»

«Хорошо, просто иди поднимись в свой номер. Жди меня там. Я угадаю цифру. Помнишь, я всегда угадывал. Это почти как случайно столкнуться на улице – помнишь, как мы об этом говорили? Помнишь, что было до этого? Я снова хочу все это с тобой сделать».

И потом: «Прости меня».

И еще одно: «Сука, я тебя убью, слышишь?»

И еще: «Можешь закрыться, у меня топор».

И еще: «На самом деле это ад».

И потом: «Прости, я просто умер, и мне тяжело. Я не знаю, зачем я тебя мучаю. Пожалуйста, поговори со мной. Нам надо поговорить. Я тебе все объясню. Просто иди в свой номер прямо сейчас и жди меня. Я все тебе объясню, ты наконец-то все узнаешь, ты наконец-то узнаешь все, что происходит, только иди в номер, иди, бля, в номер немедленно, иди в номер, бля».

Я не пошла в номер.

Я записала все его сообщения.

Я еще должна добавить одно уточнение: это действительно не ад и не лимб. Это не смерть, никто не умер. Если ты обнаружишь себя в такой же ситуации, запиши все происходящее в свой выходной и не откладывай, потому что у тебя есть ровно один день для того, чтобы все записать, и чем дольше ты откладываешь этот день, тем неподъемнее и невыносимее – и, следовательно, дальше от осуществления и спасения – оказывается возможность его записать (уже отчасти невозможность, понимаешь?).

«Я уже практически здесь, не отправляй ничего», – написал он.

Ну-ну, конечно. Поздно. Я успела.



Она отдает мне распечатку текста на десяти листах, я отдаю ей чек на \$ 5800: в договоре прописано, что в случае удачного терапевтического эпизода с отделенной памятью-самописцем я оплачиваю услуги терапии в полном объеме.

– Спасибо, – говорю я. – Тут до фига текста.

– Он может быть довольно запутанным, – говорит она. – Она не сразу поняла, что нужно сделать, очень много времени прошло, а чтобы все записать, у нее был только один день, выходной, мы же такие параметры задавали, в вашей ситуации и с вашей проблемой только такие подходят.

– Да, спасибо, – повторяю я. – Я могу почитать дома? Там правда будет какое-то разрешение всего? Я наконец-то смогу понять? И мне не нужно это потом с вами разбирать?

– Конечно, если что-то непонятно будет, можете взять дополнительную консультацию, но я сейчас просмотрела текст, там все в порядке, это необязательно. Там, кажется, уже все, все разрешилось. Всего хорошего, у меня уже сейчас следующий человек придет, вы звоните потом, если что-то непонятно. Но там все понятно уже, поверьте.

Я просматриваю текст, и мои глаза наполняются слезами.

– С ума сойти, – говорю я. – Вы уверены, что никто как бы не пострадал, ну? Что это все не... то есть это же просто текст, правда? Это же не... ну, понимаете?

– Конечно, конечно, – отвечает она. – Это просто текст. Ничего такого.

И закрывает за мной дверь. И очень жаль, жаль, жаль, что у меня нет топора.

Мистер светлая сторона

... Потом расплакалась на заправке: изящно и ровно, как на тренировке по йоге, уселась на пол, закрыла бледными пальцами лицо и замерла на несколько секунд.

Ее плечи вздрогнули, из-под пальцев что-то привычно брызнуло. Павлик поставил стаканчики с кофе на кафельный пол цвета влажной взрослой кожи, осторожно потрогал кончиками пальцев ее за костлявые гусиные плечи.

– Пойдем, не здесь. Ну что ты прямо здесь. Успокойся, пожалуйста. Тут же люди.

Саша вскочила и отпрыгнула от него резким, оленьим движением, как, должно быть, полумертвая лань отшатывается, словно от ватного призрака собственного небытия, от внимательного человека с ножом, осторожно придерживающего ее за шею, чтобы освежать, освободить от зарождающейся жмучести души, стесненности мышечного существа дрожащим кожистым жилетом.

– Не смей меня трогать! – закричала она. – Ты постоянно меня трогаешь, вот как сейчас, руками, обнимаешь, по голове гладишь, ну неужели не понятно, что нельзя, нельзя, что мне плохо, больно, что это мне напоминает все, чего уже не будет, не будет!

– Тихо, – сказал Павлик, – все будет, только тихо. Пожалуйста, Сашенька. Тут же люди.

Людей было немного: сонная ночная продавщица, утло и сладко заваливающаяся куда-то за штору, да пара промасленных дальнобойных мужиков, в мглистых вершинах бледных полок задиристо выбирающих машинное масло и сосиски, по некоей странной причуде, вероятно сознания этой дебилой спящей красавицы, расположенные в соседних отсеках, как товарищи-космонавты, готовые вот-вот вылететь на орбиту безбрежной дорожной дружбы – кто-то в желудке, кто-то в моторе, не важно.

– Не важно, – прошептал Павлик. – Сашенька, ну пожалуйста, успокойся, я же тут, с тобой.

– Ты вечно просишь меня успокоиться! – разрыдалась Саша уже громко, и дальнобойщики, похожие на космических пиратов в кепках, уже начали медленно разворачивать свои широкие обветренные торсы в их сторону, держа масла и сосиски наперевес, будто галактическое оружие. – Ты и успокаиваешь-то меня не потому, что тебе меня жалко! Это не сочувствие! Это эгоизм! Ты хочешь меня лапать, трогать, обнимать, да? А когда тут, при людях – стыдно, да? Неловко, что я плачу? То есть я должна быть такой удобненькой? Я тебе нужна, когда я удобненькая, да?

Павлик отошел от Саши на пару шагов и беспомощно оглянулся, будто проверял, замечено ли внимательным окружением его предательство, – да и откуда вообще взялось это слово, предательство, неужели он его сам помыслил, или Саша уже отправила ему этот пылающий, мучительный взгляд, в котором плясали огни обвинения. Мужики, будто на войне, помахали ему – или Сашиному обвинительному пламени – сосисочным огнеметом: что-нибудь нужно?

– Ты специально отошел, чтобы я кричала? – завизжала Саша на весь магазин. Голос у нее был звонкий, как колокольчик. – Чтобы я как бы громче говорила? Да? Ты поэтому?!

– Нет, – тихо сказал Павлик, и его всего свело, как будто огненная судорога пробежала по всему пространству, слегка опалив и его самого. – Саша, пожалуйста, пойдем в машину. Я тебя очень прошу. Саша, умоляю, не кричи. Пожалуйста, не ори, пожалуйста, Саша, Сашенька, не ори.

– Тебе за меня стыдно, – дрожащим и обвиняющим голосом резюмировала Саша. – Ему тоже было за меня стыдно. Всем за меня стыдно. Это нормально. Я приеду домой и покончу с собой. Я приняла решение. Здесь, на этой чертовой заправке, мое решение оформилось и вызрело. Спасибо тебе, Павел. Спасибо. Ты молодец. Ты супергерой. Ты клевый. Поздравляю.

И, пошатываясь, побрела к выходу. Павлика снова всего передернуло – будто пространство той своей судорогой покатило за ней, за Сашей, – но взял себя в руки, поднял с пола стаканчики с кофе и поплыл к красной кассовой портъере, в которую, как восточная принцесса, куталась продавщица снов, – сомнологическую часть ее статуса он осознал позже, когда выяснилось, что она совершенно не может посчитать два кофе, путаясь и яростно вытирая пальцем что-то невидимое и крупное в уголке черного, раскопегаренного шальной тушью глаза. Он, расслабленный очевидным неучастием восприятия сонной принцессы в происходящем вокруг, вложил в ее другую руку пару ровненьких, выглаженных купюр и вышел в ночь. Из стаканчиков шел теплый, лошадиный пар.

Саша сидела на корточках около машины и плакала.

– Я принес тебе кофе, – сказал Павлик. – Ну что ты. Выпей, нам еще триста километров ехать.

– А потом мне еще всю жизнь как-то жить! – пробормотала Саша сквозь слезы. – И не с тобой, даже не думай. Хищник, стервятник, дрянь. Налетел на меня, как на падаль. Как на падаль, да? А при людях трогать боишься, конечно же: это не мое, это не со мной. Отошел сразу! Я видела, сразу отошел.

– Мне неловко, когда при людях на меня кричат, – смутился Павлик. – Я от такого сразу зверею. Не знаю, отчего такое. Сразу хочется спрятаться и убежать.

Саша плакала вот уже десять минут подряд: оставалось совсем немного.

Павлик с чудовищным стыдом осознал, что за эти три дня привык к ее всплескам отчаяния: Саша рыдала где-то раз в пару часов, всей душой отдаваясь этому занятию на десять-двенадцать минут. Потом вынимала трясущейся рукой из сумочки пузырек «Новопассита», делала широкий и жадный похмельный глоток, вытирала лицо уже насквозь мокрым платком и кивала Павлику: все, перерыв. Павлик, разумеется, знал, что Саша будет почти все время плакать, но все равно предложил ей съездить с ним в Ригу – рабочая поездка, резвый корпоративный автомобиль с кожаными сиденьями, номер в гостинице, сосны и море, я пойду на конференцию, а тебя отвезу к морю, будешь там целый день гулять и пить смородиновый бальзам из глиняной бутылочки, как ты любишь, ты же так любишь?

– Все ты помнишь, как я люблю, – зло сказала тогда Саша. – Хищный такой нацелился. Но мне нечего терять, если тебе хочется, я могу съездить, почему нет, все равно никому уже не интересно, где я, что я, куда я поехала. Я буду все время плакать, это ничего?

Павлик ответил, что, конечно же, это ничего, но Саша мрачно пробормотала: да-да, ничего, он тоже говорил, что всё ничего, а потом ты меня тоже бросишь, знаем.

Сашу бросил упырь Вадим. Упырь жил с Сашей и ел ее пять долгих мучительных для как минимум Павлика лет, а потом совершенно внезапно сообщил уже немеющей, уже дрожащей от вводных, мягких первых его серьезных слов Саше, что какая-то Инесса уже полгода как ждет от него малыша, и пора уже собирать вещички, жениться, знакомиться с будущими родственниками, и вообще неудобно портить жизнь хорошему человеку Александре, и так последнее время был рядом исключительно из жалости. Саша не верила, смеялась, переспрашивала: точно? Это точно? Она была уверена, что они с Вадимом вот-вот поженятся: последние три года из пяти ходила тихая, пьяноватая от сжимающего челюсти мучительного предчувствия несчастья, идущего вразрез с ее яркой, царственной уверенностью в грядущей плодоносной семейности. Теперь цветущий поезд плодородия гремел по чьим-то чужим рельсам, а Саша оказалась ненужной, но принять это у нее не получалось: это правда, спрашивала она у всех, в том числе и у Павлика, это точно, ты думаешь, это действительно так? Может быть, он придумал это все про Инессу, потому что решил, что я недостаточно сильно его любила, и решил уйти вот так, чтобы не мучаться?

– Придумал, конечно, – поддакивал Павлик, прекрасно понимая, что упырь Вадим превратил Сашу – его смешливую, смелую Сашу! – в рыдающую скорбную тень, в получеловека,

в пустую оленью шкуру, которую он, Павлик, теперь должен наполнить своей заботой и любовью, чтобы Саша ожила.

Саша не оживала. Несколько недель она просто пролежала в кровати: в застиранной домашней одежде, с жирными волосами, затянутыми в кокетливый злобный хвостик. Павлик приходил, приносил хрустящие картонные пакеты из супермаркета, шуршал целлофаном на кухне, уговаривал Сашу поесть.

– Откармливаешь, – улыбалась Саша сквозь слезы, размахивая вилочкой. – Пять лет ждал, да? Только и ждал, когда я освобожусь, чтобы сразу же наброситься. Ничего не выйдет. Жизнь моя закончилась, больше ничего нет. Омлет плохой. Он меня научил отличать хороший от плохого. Вообще научил хорошее от плохого отличать. Я плохой, негодный материал. Я не знаю, зачем ты со мной возишься. Я никогда с тобой не буду. Ты мне весь противен совсем, ты чужое, ты не то. А то, что ТО, – оно тоже уже не то. Я всё, всё.

И Павлик уносил омлет на кухню и долго думал, как поступить с увечным страдальцем: съесть самому, упрятать, как труп, в черный мусорный пакет или соскрести с тарелочки в унитаз – что правильнее? Он действительно никогда в жизни не готовил, все шарился по общепитам, да иногда наколдовывали ему противные жирные борщи с говяжьим пульсирующим сердцем какие-то давние длинноногие гостевые дамы.

– Чай горький! – отчаянно и беспомощно пищала Саша из спальни, и Павлик снова бежал к ней, выхватывал из ее рук зловредного чайного врага, безуспешно пытался гладить Сашу по жирной голове, отчего она дергалась, визжала и кричала что-то про хищную птицу Павла, уже кружащую над сладкой искушающей падалью.

То, что она согласилась в этом состоянии куда-то поехать, Павлик воспринял как закономерное улучшение: Саша действительно два дня гуляла где-то у моря (он высаживал ее поутру на полупустой ветреной набережной, аккуратно вешая ей на спину рюкзак с термосом, бутербродами и заветной крошечной глиняной бутылочкой, вечером забирал и вез в гостиницу, где она долго плакала перед сном, уткнувшись в стену), один раз искренне восхитилась какими-то маленькими зелеными пирожными в хипстерском эконокафе (и съела одно, восторженно ковыряя его фарфоровой ложечкой, но потом скривилась, сказала: «Черт, я как будто на минуту забыла о том, что моя жизнь кончена», – и снова расплакалась, но был проблеск счастья, отметил Павлик, был!), казалось, чувствовала себя лучше от этих многочасовых прогулок.

Хуже всего ей становилось в дороге. Она цепко вертела тонкими длинными пальцами напряженные костяные рукоятки радиоприемника, будто натягивая, вытягивая из космоса нитяную кровавую волну боли, и, триумфально расплетая пальцами уже сотканное полотно отчаяния, откидывалась на спинку сиденья, подвывая в потолок: это та самая песня! Она актуализирует мою личность, которую он убил и уничтожил! Все, что во мне болит, – это я сама! Потом слова оставляли ее, и она, наполняя все окружающее опасными, угрюмыми тектоническими вибрациями, начинала бубнить: останови машину, срочно останови, а то я выбью стекло или выпрыгну.

Обратно уже наученный опытом Павлик ехал тихими проселочными дорогами – на трассе останавливать машину было крайне неудобно, и приходилось блокировать двери, стараясь не замечать, как Саша явно назло ему, как птица, мстительно бьется лбом о кучно исписанное белесыми прощальными посланиями ночных насекомых стекло. Дело сразу пошло на лад: Саша благодарно и торжественно, как в театре, распахивала дверь и размашисто убегала с громкими рыданиями в ржаное поле, где кидалась ничком в колючие злачные объятья. Когда Павлик поднимал ее, невесомую и призрачную, она визжала: «Не прикасайся ко мне! Не смей!» – и Павлик инстинктивно оборачивался: не идет ли угрюмый мужик с острой косою краем поля, не примет ли бесхитростный пейзажный разум Сашино горе за призрак насилия, не сносить ли ему, Павлику, своей сочувственной головы.

– Это не сочувствие, – говорила Саша, поднимая откуда-то из гущи колосьев увесистый гранитный шар. – Это ты не головой мне сочувствуешь, Павел, а другим органом, а каким, я тебе этого не скажу. А камень я с собой беру на случай самообороны. Знаю я эти штуки: помочь, спасти, выручить, а сам все наблюдаешь, в какой момент удачно пристроиться бы, да?

Потом Саша начала выносить камни буквально с каждого поля, в которое она убегала поплакать. Это стало чем-то вроде ритуала. Павлик никак это не комментировал, рассудив, что это может быть неким защитным кульбитом изможденной Сашиной психики.

– Главное, чтобы тебе стало легче, Сашенька, – кивал он, когда растрепанная Саша тащила из гречишных зелененьких полей большой и тяжелый, как смерть, треугольный камень, похожий на наконечник древнего копья.

– Станет-станет, – зло говорила Саша. – Ты только потому и хочешь, чтобы мне стало легче, чтобы тут же сети свои расставить липкие. Кому нужна такая рёва, и правда. А вот как полегче станет – буду веселая, радостная, – тут-то, конечно, приятно будет к такой-то веселой, радостной яйца-то подкатить, да? Я понимаю.

Павел ужасно смущался таких разговоров, краснел, робел, резко жал на газ, и Саша начинала обиженно, сквозь слезы, хохотать: как ты, Павел, мощно жмешь! Это ты, наверное, представляешь меня уже готовенькой, излечившейся, да? Кружишь все надо мной, да? Когда созреет мясо, скорей бы. И будешь лечить, и заботиться, и ухаживать – только бы дозрело, только бы наконец-то вонзить все когти и огромный костяной клюв, да?

– Поспи, – отвечал Павлик. – Просто постарайся успокоиться и поспать.

– Ну-ну, знаем, – бубнила Саша и тут же засыпала, и Павлик ехал блаженные час-полтора в полной тишине, пока Саша не просыпалась кошачьим розовым комочком сладкого беспамятства, не потягивалась всей былой, гордой и веселой Сашей и не вспоминала вдруг целиком и разом – будто стальной занавес рухнул, подломив все ее сонно потрескивающие птичьи косточки, – что жизнь ее тоже рухнула вся целиком. И тут же принималась отчаянно, горько плакать: как же так, сколько еще лет так просыпаться, когда первые мгновения ты счастлива, будто в детстве, а потом вдруг вспоминаешь всю свою биографию разом и понимаешь, что все, счастья не будет никогда, вот бы все забыть сразу и целиком.

Пару раз Сашу даже тошнило от слез, и Павлик вытирал кожаные сиденья ароматизированными филигранными платочками «алоэ вера» и «майский ландыш», пока Саша убегала в цветущие июньские поля за очередной порцией терапевтических камней. Бросала куда-то на половички под задними сиденьями с кривой ухмылочкой (камни гремели, будто кукольный обвал и катастрофа), обиженно цедила: ну да, конечно, все вытер, все убрал, такой всепрощающий, только и ждет, когда же я наконец-то забуду этого упыря и повисну у тебя на шее, и все пять лет отирался где-то рядом, выжидал, горя моего ожидал, смерти моей ожидал – а, нет? Почему глаза отводишь? Ты разве не признаешь, что то, чего ты так ожидал, для меня – смерть, небытие? Теперь видишь, что так и есть? А, неловко тебе? Что, думал про пламенную страсть на вишневых одеялах в приморском отеле? Да вот, тяжело, конечно, что мы как-то посложнее вас устроены!

И камни согласным рокотом гремели, роптали где-то позади, как угрюмое воинство, готовое чуть что защитить и спасти безвозмездно и бескорыстно, а не с подленьким, гаденьким душком надежды, которую уставший от бесконечных Сашиных обвинений Павлик, казалось, уже и сам начал в себе подзревать: в самом деле, зачем он так мучительно возится с ее невыносимой мукой? Из приличествующей всякому человеку христианской жалости – или из мутного, как похмелье, непростительного желания впитаться губами в ее изогнутый в страдальческой гримаске тоненький нитяной рот, изрыгающий проклятия пополам со стенаниями?



– Едем, – сказала Саша ровно через две минуты: всего двенадцать, как положено. – Едем, я хочу утром быть дома, я чудовищно устала.

Кофе остыл, Павлик тоже немного остыл. К заправке подъехал большой семейный автомобиль, из которого выбежали упругие, как сосиски, папа-мама и троица образцовых деток-пирожочков: Павлик вдруг с абсолютным, арктическим, марсианским ужасом, заковывающим все его тело в ледяной айсберг, понял, что мысленно ликует оттого, что цветущая сосисочная братия ленилась поднажать, мчала расслабленно и валко, не став свидетелем его позорной роли робкого мямли, услужливого рохли, на которого высокая, стройная и отчаянно красивая в своем разрушительном горе Саша звонко, как жаворонок, орет среди белых полок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.